



И.П.ВОРОНИЦЫН

А.ГЕЛЬВЕЦИЙ

Л.47

ОГИЗ ГАИЗ
1934



Центральный совет
Союза воинствующих
безбожников
СССР

В. 75

ДКТМ

1
В-75

1:92
Г.32

И. П. Вороницын

Входящий № _____

К. А. Гельвеций

ПЕРЕВЕРНО
1982 р.

Інвентаризовано
1969 р.

1979 р.
Інвентаризовано

ПЕРЕВЕРНО
2007

О Г И З

БНО

Государственное
антирелигиозное издательство
Москва - 1934

На фоне биографии Гельвеция дано изложение и критический разбор философских и политических взглядов Гельвеция как идеолога нарождающейся революционной буржуазии, показано его место в ряду предшественников новейшего атеизма и его роль в подготовке Великой французской революции.

ЦС СВБ СССР
Автор — Вороницын Иван Петрович
„К. А. Гельвейй“.
Художник Д. Бажанов (переплет, форзац).
ОГИЗ — ГАИЗ — Москва — 1934 г.
Редактор А. Ракович.
Тех. ред. П. Кузанян.
Сдано в набор 25.II—34.
Подписано к печати 20.III—34.
55 × 82/16.
Тираж 10 200.
Бум. л. 29½. Изд. л. 91½. Зн. 392 000.
Инд. Б-2. Изд. № 2.
Уполномоченный Главлита № В-80 856.
Заказ № 2123.

17-я фабр. нац. книги ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфкнига»
Москва, Шлюзовая наб., д. № 10.

Предисловие

Гельвеций — один из тех мыслителей, которые прославили XVIII столетие. Об руку с энциклопедистами, к которым он примыкал идеино и с многими из которых был связан узами личной дружбы, он вел смелую и решительную борьбу с феодальным порядком, с королевской властью, с дворянством, с церковью. Принадлежа по своему происхождению и по положению в обществе к высшим кругам третьего сословия — буржуазии, он ясно понимал ту роль, которую его сословие призвано играть в ближайший исторический период, и за полсотни лет до так наз. Великой революции выдвигал уже лозунги, которые будут написаны на знамени восставших народных масс.

Но значение Гельвеция далеко не ограничивается его ролью в подготовке умов французской буржуазии к революции. Его теория нравственности, так наз. утилитарная теория, оказывает большое влияние на позднейших представителей этого учения в Англии и ставит его на почетное место в ряду предшественников социализма. Как философ-материалист он среди прочих материалистов своей эпохи отличается оригинальностью и независимостью суждений и при решении ряда проблем преодолевает метафизичность, свойственную французскому материализму, приближаясь кialectическому объяснению. Также и в области объяснения исторических явлений он не может быть целиком и безоговорочно назван идеалистом, как огромное большинство его современников. Им достаточно ясно намечены залоги материалистического объяснения истории. В числе заслуг Гельвеция надо отметить и его заслуги в педагогике. Он произвел переворот в этой науке, рассматривая воспитание как общественную функцию и подводя под него материалистический фундамент.

Особенно велико значение Гельвеция в истории атеизма. Разоблачая религию и церковь, он не ограничивается от-

влеченою критикой, столь обычной в XVIII в.; он рассматривает религию исторически и экономически. Он показывает вредную роль, какую церковные организации играют во всех областях общественной жизни. И недаром с такой ненавистью относилась к Гельвецию церковь при его жизни и после его смерти: его книги представляли богатейший арсенал для дела безбожия.

История занималась Гельвецием очень мало. Вокруг его имени создался заговор молчания. Буржуазный мир упорно отказывался видеть в нем одного из тех, кому он обязан был своим утверждением. И буржуазный мир был прав: сочинения Гельвеция содержали в себе много зерен, которые, развившись в почве именно капиталистического общества, принесли плоды, для этого общества непригодные.

Но хотя буржуазная история занималась Гельвецием мало, а поскольку занималась, расценивала его весьма пренебрежительно, он не был забыт. Его влияние долго еще заметно оказывается в последующих выступлениях против светского и духовного угнетения. У Гельвеция учились безбожию и наши русские революционеры XIX столетия, начиная от декабристов и кончая революционным народничеством. Не остался без влияния он и на русский марксизм. Известно, как высоко ценил его В. И. Ленин.

Сказанным оправдывается опубликование настоящей работы. Основной упор мы берем на изучение Гельвеция как воинствующего безбожника и на определение того значения, какое его взгляды имели в развитии атеизма XIX столетия, особенно у нас в России. Поскольку атеизм Гельвеция и его критика религии объясняются условиями его социального бытия, мы отводим значительное место описанию той общественной обстановки, в которой он жил и боролся, и тех гонений со стороны светских и духовных защитников религии, которым он подвергался.

Необходимо здесь отметить, что настоящая работа представляет собой полную переработку нашей биографии Гельвеция, вошедшей в «Биографическую библиотеку» Госиздата (Вороницын. «К. А. Гельвеций». ГИЗ, М.—Л. 1926). Гельвецию посвящена также одна из глав нашей «Истории атеизма» (издание 3-е, М. 1930, стр. 265—280).

Введение

Франция в XVIII столетии и просветительное движение

Вся история Франции XVIII в. представляет собою борьбу двух социальных миров — отживающего феодального строя и нарождающегося буржуазного. В экономике, политике, нравах и обычаях, в религии, в философии, в литературе, в искусстве — всюду происходит эта борьба. Старый дворянско-помещичий уклад подвергается ударам со всех сторон, а на его поражениях растет и крепнет новый, капиталистический строй. Одной из сил, подготовлявших революцию, были «философы», как называли тогда участников дореволюционного освободительного движения, так называемого просветительского общественного движения. Гельвеций был одним из самых выдающихся философов-просветителей.

На пороге XVIII столетия Франция была страной земледельческой со слабо развитой городской промышленностью, еще не вышедшей из ремесленной стадии. В этом отношении она сильно отставала от Англии, где мелкая мануфактура вытесняла ремесленное производство, где торговля достигла значительных размеров.

Развитие капитализма во Франции встречало огромные препятствия, главным из которых были пережитки средневековья в лице цеховой организации ремесла. Этим с одной стороны объясняется, что новые капиталистические формы производства устремились в деревню и в те немногие города и местечки, которые были освобождены от стеснительных цеховых рамок. С другой стороны перенесению центра промышленного развития в деревню чрезвычайно способствовало то обстоятельство, что разоренное и малоземельное крестьянство представляло собой богатейший резервуар дешевой рабочей силы. В результате деревня по числу участников производства играла главнейшую роль в промышлен-

ности, особенно во второй половине столетия. В этом процессе роль цехов падала все больше, и перед революцией их господствующее положение в промышленности почти отошло уже в область преданий.

Представляя себе капиталистическую промышленность в ту эпоху, надо иметь в виду, что она имела совсем иной характер, чем нынешняя. Дело происходило еще до применения пара, до внедрения в промышленность машин. Промышленность была тесно связана с жизнью земледельца, а число крупных мануфактур, заводов и фабрик было очень невелико. Этим объясняется, что во всей литературе просветителей мы почти не встречаемся с понятием рабочего класса. Он существовал главным образом вне городов, сливался с крестьянством и сколько-нибудь оформленным сознанием не обладал.

Но зато буржуазия как класс уже была, и по мере приближения к XIX в. ее экономическое влияние становилось все больше. Купцы и промышленники шли рука об руку, да резкой грани между ними, собственно говоря, и не было. К ним примыкает финансист, капиталист в собственном смысле этого слова. Денежные спекуляции, начавшиеся с 1716 г., с основания Джоном Ло банка в Париже, все возрастают в своем объеме, и столица Франции становится средоточием капиталов всей Европы. Правительство задолжало огромные суммы банкам и крупным капиталистам и все более подчинялось их влиянию.

Богатства росли со стремительной быстротой. И естественно, что, обогащаясь, приобретая за счет духовенства и дворянства все большее влияние, буржуазия, или, как тогда говорили, «среднее сословие», но главным образом конечно финансовая знать, начала задавать тон всей городской жизни. «Наши буржуа,—говорит один бытописатель того времени,—обладают лучшими дворцами, чем монархи двести лет тому назад»¹. Роскошь, развившаяся в Париже и крупных городах, питалась избытком денежных средств в руках этого класса. Но буржуазия отличалась не только внешним блеском. Приобретая экономическую силу, она стала стремиться и к захвату главенства в культурной жизни общества. Постепенно законодательство в области мод и вкусов от придворной знати переходит к знати финансовой. Литература и искусство все более перестраиваются на новый лад, приспособляются к новой силе, отражая ее общественное бытие и чаяния. Тяга буржуазии к образованию поразительна. Огромное большинство учеников коллежей (средних и высших

школ) были дети буржуазии, преимущественно буржуазии мелкой и средней.

Рядом с этим могучим растущим классом, полным не выявленных еще творческих сил, стоит хиреющее дворянство, живущее в значительной своей части паразитической жизнью при дворе, оторвавшееся от обедневших и разоренных поместий. Это — экономически и духовно распадающийся класс, колосс на глиняных ногах. Из старинных дворянских семей всего двести или триста стояло значительно выше уровня зажиточности. «Несколько громких имен еще было стало при дворе, вызывая воспоминания о тех крупных личностях, которые их прославили... В провинции встречалось еще несколько семейств, богатство и влияние которых были еще значительны, так как они сохранили достояние своих предков или, чаще всего, так как они возместили потерю наследственных богатств браками с плебейскими родами»².

Обедневшая поместная знать отличалась невысоким уровнем образования, особенно в провинции, но высоким гонором, неудержимой жадностью, жестокостью и цепко держалась за свои привилегии. Еще хуже была знать придворная, камарилья куртизанов, окружавшая трон последних королей Франции. Низкопоклонная и развратная, повторствующая низменным вкусам коронованных ничтожеств, угождающая любовницам королей, продающая за королевские пенсии, за звания, за отличия свою честь и совесть, эта знать была истым бичом государства. Ненависть придворных ко всему новому выражалась в преследованиях с их стороны просветителей, в которых эти титулованные лакеи угадывали силу, подрывающую основу их паразитизма. «Они нас боятся, как воры боятся уличных фонарей», — говорил о них один из писателей того времени.

Среди этих придворных были также и люди иного сорта, более независимые и просвещенные, поддерживавшие новые веяния и почти всегда вступавшие в оппозицию ко двору. Но их было сравнительно не много, и их принадлежность к дворянству была чисто формальной. Надо добавить еще, что дворянское звание и придворные должности в эту эпоху разложения и упадка дворянского сословия покупались очень часто за деньги разбогатевшими буржуа. Таким новоявленным придворицем был между прочим и сам вождь просветительного движения Вольтер, происходивший из купеческой семьи, Гельвеций, женившийся на дворянке высокого рода и купивший себе придворное звание, и многие другие.

Дворянство служило в армии, занимало административные посты, играло таким образом также роль служилого сословия и этим своим положением в государстве более всего поддерживало старый строй.

Тесно связалось с дворянством духовенство — другая опора старого порядка. В своей книге «О человеке» Гельвеций приводит нам поразительные цифры численности духовенства и огромных средств, которых стоило стране содержание этой черной армии. Благодаря скопившимся в руках духовенства неисчислимым богатствам удельный вес его и влияние на королевскую власть были очень велики.

Что представляло собою морально католическое духовенство во Франции в ту эпоху? Прекрасно отвечает на этот вопрос автор одной старой книги, человек, вовсе не зараженный вольнодумством, и искренний приверженец религии³. «Духовенство потеряло всех своих великих людей, но оно не отказалось ни от одного из своих притязаний... То был страшный взрыв богословских распрай. Булла «Уникенитус»⁴ послужила для них содержанием и предлогом. Епископы ортодоксальные мечут молнии против епископов, не признающих буллы; эти в свою очередь обрекают мстительному пламени ада своих противников. То был невыразимый концерт оскорблений, проклятий, криков бешенства: пастырские послания против посланий, священные тексты против текстов; отлучения от церкви сталкиваются в воздухе и падают на землю, как затупившиеся стрелы... Буллы следуют за буллами, папские грамоты за грамотами, и их предают на посмеяние толпы... Такова армия христова! Это еще не все. Подобное шутовство и безумие встречаются в истории всех культов в эпоху их упадка. Но сюда присоединяются нравы настолько развратные и черты характера настолько позорные, что ничего подобного еще не бывало. И кто герой этого скандала? Кардиналы и епископы. Рассказывать их подвиги значило бы грязнить историю; достаточно назвать их заклейменные имена...». Это были «отвратительные души, в которых самая гнусная низость сочеталась с холодной, безжалостной жестокостью, прелаты-палачи, которые, покидая свои оргии, требовали во имя религии и морали ссылки на каторгу для какого-нибудь протестанта, виновного только в том, что он повиновался своей совести».

Если в начале столетия духовенство занято преимущественно внутренними распрями, то к середине его оно обращает свою ненависть против светских идей, против нового врага в лице философов-просветителей. Пользуясь вечной

нуждой королевской власти в деньгах, оно подстrekает эту власть на самые суровые репрессии, толкает ее на самые жестокие и бессмысленные меры. В 1758 г., в момент наивысшего разгула религиозной реакции, духовенство шестнадцатью миллионами оплачивает поход светской власти против свободомыслия. Торг происходит в открытую. Мы даем, говорят они королю, чтобы вы нас поддержали. И получают все, чего требуют. На конкретных фактах дальше мы увидим, как боролись они и чем кончилась эта борьба.

Духовенство было самой страшной силой, которую старый режим выдвигал против все растущего освободительного движения.

Послушно на поводу у духовенства шла магистратура, также представлявшая в XVIII в. не малую силу и образовавшая свое особое сословие, или, скорее, касту. Магистратура — это вся судебная власть со всеми ее бесчисленными делениями. Должности от высших до низших покупались за деньги и передавались по наследству. Кляуза, сутяжничество, всякого рода злоупотребления обогащали этот муравейник свыше меры. Чтобы представить себе, какое огромное количество пиявок этого рода впивалось в разлагающийся общественный организм тогдашней Франции, довольно сказать, что у одного Парижского парламента⁵ в подчинении находилось свыше 3 000 низших агентов. Как выгодно было тогда быть «парламентарием», видно хотя бы из того, что должность советника парламента, стоявшая в 1712 г. 25 тысяч ливров, в 1767 г. стоила уже 300 тысяч. Привилегии разного рода, которыми пользовалась магистратура, заставляли ее цепко держаться за свое положение и всеми мерами блести свою независимость даже против покушений верховной власти.

Этим объясняется то, что, учиняя кровавые расправы с врагами существующего строя, парламенты в то же время неоднократно выступали как оппозиция королевской власти и стремились эту власть ограничить, за что члены их подвергались ссылкам и другим гонениям.

Просветители решительно боролись против привилегий магистратуры, и особенно они боролись против купли-продажи должностей. Одним из застрельщиков в этой борьбе был Вольтер. «Почему Франция является единственной монархией в мире, которая заклеймена этим позором продажности?» — воскликнул он. — «Продавать публично правосудие и заставлять этого судью принести клятву, что он не купил свою должность, — это клятвопреступная низость». Другой

философ, Дюкль, ставит в вину магistrатам их лень, их стремление подняться к власти всеми средствами, но только не трудом и не науками, а особенно их бессовестность и пристрастность. Среди магистратов тоже, как и среди дворян и даже среди духовенства, находились просвещенные и свободолюбивые люди, некоторые из них сотрудничали в Энциклопедии и примыкали к философскому движению, но это были единицы и исключения. Борьба парламентов с орденом иезуитов, закончившаяся изгнанием последних из Франции, их борьба с королем за его чрезмерный абсолютизм, умалявший права парламентов, были невольными заслугами перед освободительным движением этой крайне реакционной касти.

Философы в большинстве не обманывались насчет этих заслуг магистратуры. Да и как можно было обманывать? Всего за два года до изгнания иезуитов по приговору парламента Тулузы был колесован, задавлен и брошен в огонь купец Жан Калас, «еретик», ложно обвиненный в убийстве; через два года по такому же ложному обвинению приговорен к смерти протестант Сирвен, а в 1766 г. магистраты городка Аббевиля приговорили юношу-дворянина де-ла-Барр к ужасной казни за вольнодумство и безбожие: ему отрубили руку, затем вырезали язык, затем отрубили голову и сожгли, а в костер вместе с жертвой бросили «сובלазнившие» его книги нечестивцев-философов. И вся магистратура Франции одобрила это преступление. Сжигались книги, авторы их подвергались преследованиям, книгопродавцы и разносчики философских книг осуждались на каторгу. Черные преступления этих «пауков» и «каналий», как называл магистратов один из философов, Даламбер, навсегда остались в истории образцами расправы со свободой человеческой личности.

Дворянство, духовенство, магистратура — вот опора старого режима, олицетворение всей гнили и мерзости дореволюционного порядка.

Еще была королевская власть. О ней достаточно сказать, что все пороки разлагавшегося общества, как в фокусе увеличительного стекла, сосредоточились вокруг трона.

Но народ, был ли он тоже силой? И что представлял собою народ, эти миллионы единиц, державшие на своих плечах всю колоссальную пирамиду сословной жадности, хищничества, лицемерия и грязи?

Выслушаем сначала свидетелей, а потом и обвиняемого,

потому что «народ» обвинялся всеми стоявшими экономически выше его в самых разнообразных грехах.

Первый свидетель, неподкупный, беспристрастный, субъективно по крайней мере, Энциклопедия, огромная «осадная машина», как ее называли, таран, который должен был пробить стену предрассудков и суеверий, окружавших старый режим.

Все, кто имели возможность выбраться из народа, говорит она, т. е. избавиться от тяготеющих над ним поборов, сделали это. «В массе народа остались лишь рабочие и крестьяне. Я с интересом смотрю на их образ жизни. Рабочий живет в какой-нибудь конуре. Он поднимается с зарей и, не глядя на солнце, смеющееся в небесах, роется в наших копях и шахтах, осушает болота, чистит улицы, строит наши дома, выделяет нашу мебель... Почувствует он голод, все ему годится... Крестьянин, другой человек из народа, выносит жару, холод, высокомерие вельмож, грубость богачей, разбой откупщиков, грабеж чиновников, даже хищничество диких зверей, которых он не смеет согнать со своих полей из уважения к охотничьему удовольствию помещиков. Он трезв, справедлив, честен, религиозен, хотя и не обсуждает, какая ему от того выгода... Таков портрет людей, образующих то, что мы называем народом, людей, составляющих всегда самую многочисленную и самую необходимую часть нации».

В этих словах народ еще причесан и приглажен. Они написаны народолюбцем из господ, «народником» того времени. Это не то отношение, которое проявляют к народу довольные своим положением и всем на свете высшие слои общества, умышленно закрывающие глаза на народные бедствия и видящие лишь «толстощеких и упитанных» пейзан. Но все-таки истина здесь не сказана вся и полностью. Мы не слышим здесь о той ужасающей нищете, какая царила в деревнях и в городах, о безработице, о голодах, от которого «люди умирали, как мухи, и жевали траву», как говорил в 1739 г. еще один философ, маркиз д'Аржансон. Мы не видим здесь того хлеба из папоротника, «хлеба без муки», которым заглушали голод и отдаляли смерть. Ведь, как говорит тот же д'Аржансон, «во Франции за два года умерло от нищеты больше людей, чем было убито во всех войнах от Людовика XIV», т. е. за целое столетие.

В провинции непрерывно происходят голодные бунты, кроваво подавляемые. Париж на своих улицах часто слышит

крик голодной, обезумевшей толпы: «Хлеба! Мы умираем от голода». Нищество достигает чудовищных размеров, несмотря на исключительно суровые меры борьбы с ним. В Париже в конце века на 650 тыс. жителей насчитывалось 119 тыс. неимущих. В Лионе, крупнейшем рабочем центре, в 1787 г. 30 тыс. рабочих могли существовать только благодаря общественной благотворительности.

Мог ли быть «народ» силой в этих условиях? Приниженный, забитый, обезумевший от голода? Рассеянный, неорганизованный, одурманенный религией, стихийно поднимался он много раз, часто вызывая ужас в правящих, но после короткой и бесплодной вспышки снова подчинялся вековому игу. Постепенно и незаметно в этом бушующем море образовывались течения, целью которых было облегчение положения и освобождение. Но ни рабочий класс, только нарождавшийся и не сознавший еще своих классовых интересов, ни крестьянство еще не обладали политическим сознанием. Они лишь образовывали громадную армию недовольных и отчаявшихся людей. Эта армия нуждалась в толчке, в вождях, чтобы выступить, и в благородной обстановке, чтобы победить. Конечно эта армия нуждалась также и в подготовке. И эту подготовку в значительной мере дало ей просветительное движение.

Незаметно подтасчивая, подрывая основы старого общества в умах людей, исходя в своей критике почти всегда из неустройств общества, указывая на общественные язвы и намечая различные выходы из положения, «философы» шли в такт с жизнью, и оттого их идеи захватывали постепенно все более широкие круги народа. Ими зачитывались и во дворцах и в хижинах. Ими вдохновлялись народные ораторы, которых так много было в тогдашней Франции; их идеи, часто отвлеченные, в популярной форме — в бесчисленных листках и брошюрах — делались общедоступными; из уст в уста передавались выдумываемые ими анекдоты и острые словца, разившие королевскую власть, духовенство, дворянство, чиновников и судей. Тысячами неуловимых путей их разрушительные идеи проникали в массы и творили свое великое дело, направляя и делая непреодолимым этот все растущий поток.

«Можно подумать, что существует обдуманный план, целое общество, поставившее себе целью отстаивать материализм, разрушать религию, внушать независимость и вызывать порчу нравов». Так говорил в обвинительной речи против Энциклопедии, книги Гельвеция «Об уме» и против не-

скольких еще книг генеральный адвокат (прокурор) Омер-де-Флери.

Заговор! Тайное общество! — Так действительно могло казаться всем тем, чьему благополучию и самому существованию угрожало просветительское движение. Эти слова были сказаны в 1759 г., когда еще не были брошены в лицо старому режиму самые смелые и разрушительные книги. Но к этому времени уже действительно наметилась зрелость и возросла смелость «философов». А чем дальше, тем эта зрелость выявлялась все больше, а смелость доходила до крайней степени. И так все шло с возрастающей силой до роковой грани, отделяющей старое общество от нового, до революции 1789 г.

Немудрено, что у верхоглядов в истории сложилось твердое убеждение, что «философы» были виновны в революции, что без их разрушительных теорий не разыгралась бы революционная буря, что, одним словом, «философия создала революцию».

Как ни очевидна бессмыслица этого мнения, оно однако и до последнего времени пользуется кредитом среди буржуазных историков и философов. И в то же время не меньшим кредитом пользуется другое мнение, а именно, что философы существенного влияния не оказали на революцию, причем в подтверждение этого взгляда приводится тот факт, что «люди 89-го года не думали ни о свободе, ни о равенстве, а просто умирали от голода и хотели эту смерть предупредить».

Обе эти крайние позиции в оценке роли философского движения XVIII столетия грешат обычной у буржуазных историков односторонностью. Та точка зрения, с которой мы подходим к изучению мнений, взглядов и теорий людей того или иного периода, точка зрения исторического материализма, совершенно исключает подобную односторонность. Мы прежде всего знаем, что ни одно мнение, ни одна теория не может быть оторванной от материальной обстановки жизни тех людей, в головах которых эта теория возникла и укрепилась, или, точнее, от тех общественных отношений, которые на этой материальной основе сложились. Идеи не спускаются так, ни с того, ни с сего с неба. Они вырастают на почве, возделанной трудами поколений, удобренной человеческими страданиями и кровью. Они растут или гибнут под влиянием непрерывно происходящей в человеческом обществе классовой борьбы, они эту борьбу отражают, к ней приспособляются и дают людям в руки мощный рычаг пони-

мания окружающей обстановки и воздействия на нее. Идеи сами по себе революцию создать не могут. Но они могут отражать и предварять революцию, происходящую в экономической жизни человеческого общества, в общественных отношениях людей. Сказать, что философы создали революцию, какими бы оговорками мы это утверждение ни обставляли, равносильно утверждению, что революция, т. е. изменение в экономических, общественных и политических отношениях государства, зависит главным образом от воли и желания, от сознания небольшого числа людей. Это — идеалистический взгляд на историю.

Философы-просветители XVIII в. подготавливали и вырабатывали свои теории на всем протяжении столетия; больше того, их теории имеют свои корни и во французской философии XVII в. и в английской философии. Они следовательно не выросли вдруг и неожиданно в голове отдельных крупных мыслителей. Они были порождением самой жизни, и теории их были отражением этой жизни в человеческих головах. Их «заговор», если тут можно употребить это слово, был заговором самой жизни.

Могла ли без них произойти революция? Праздный вопрос. Может ли гроза пронестись без вихря, молнии и грома? Может ли живое дерево не покрыться весною зелеными листьями и душистыми цветами? В данной исторической обстановке революционный процесс, созревание экономического и социального переворота сопровождалось «просветительским» движением. В другой обстановке могло быть иначе. Но мы другой обстановки не знаем.

«Философия XVIII в.—это интеллектуальная форма Французской революции», — говорил один выдающийся критик буржуазной Франции, делавший большие уступки материалистическому объяснению истории⁶. Но и он недооценивал роль философов в подготовке революции.

Какую же роль играли просветители в том движении, которое получило свое завершение в Великой революции?

Они сыграли ту же самую роль, которую вообще играют теоретики революционных движений. Это роль организаторов революции в умах, сопутствующей революции в отношениях, в вещах. Они эту революцию выражали, они осознавали за тот класс, к которому принадлежали и к которому примыкали, цели и задачи, поставленные историческим процессом перед этим классом. Отсюда не следует, однако, что они были сознательными революционерами.

Перефразируя слова Маркса и Энгельса («Немецкая идео-

логия»), относящиеся к младогегельянской философии, мы можем сказать о французских философиах-просветителях, что ни одному из них в голову не приходило задать себе вопрос о связи их философии с французской действительностью, о связи их критики с их собственной материальной средой.

Мысль о необходимости и неизбежности революционного переворота в большинстве случаев не присутствовала явно в их головах, они не звали народ к восстанию, они видели спасение общества в чем угодно, но только не в насильственном свержении феодально-королевского режима; в большинстве они боялись революции, а многие дожившие до нее панически и стремительно отступили назад под крыльышко реакции. Но тем не менее революционерами они были, потому что силою вещей теории, сеявшие с их точки зрения только ветер реформ сверху, воплотились в революции, шедшей снизу. Эти осторожные, умеренные и даже трусливые, с нашей нынешней точки зрения, люди оказали огромное влияние на развитие и характер одной из величайших революций.

Просветительное движение, отражая в целом освободительные стремления буржуазии или, точнее, являясь выразителем интересов нового буржуазного общества, развившегося в недрах феодального общества, по самому своему происхождению не могло быть однородным. Буржуазия как класс еще не оформила своей идеологии. Ее классовое сознание толькорабатывалось, находясь в процессе освобождения от сознания других действовавших на общественной арене классов и групп.

Организация общества и соотношение его сил определяли и отношения в лагере философов и направления их теорий.

Правое крыло и центр просветительского движения характеризовали: более или менее определенный философский идеализм, т. е. признание существования духа наряду с материей как самодовлеющей силы, признание преобладания этого духа над материей или, в крайнем случае, равнотипности обоих; в области религии делались уступки, доходившие до признания откровения, и во всяком случае принималось бытие бога как разумной первопричины; в области морали признавался «нравственный закон», прирожденный человеку, от природы присущие ему понятия о добре и зле; в области политики дело ограничивалось пожеланиями проповеди ограниченной монархии. Вожди правого крыла

и центра — Монтескье, Вольтер, Руссо (чтобы назвать толь
главные имена) — заслужили благодарность буржуазного по-
томства, вокруг их имен сосредоточилась вся слава века, а
прах некоторых из них удостоился чести быть перенесенным
в Пантеон, место упокоения великих людей Франции. Огром-
ная литература создалась вокруг их произведений, вокруг их
жизни, вокруг их мельчайших поступков. Это — не только
званные, но и избранные.

Совсем иначе обстояло дело с материалистами и атеи-
стами, образующими левое крыло этого движения. Их па-
мяти посвящено несколько десятков книжек, их подлинные
воззрения искажены в курсах истории философии и литера-
туры до неузнаваемости, сами они изображаются обычно
людьми с невысоким нравственным уровнем. Когда их невоз-
можно совсем замолчать, как например Дидро, этого гиганта
просветительского движения, по своей гениальности сопер-
ничающего с помазанником буржуазии Вольтером, — о них
стараются сказать возможно меньше и сказать главным обра-
зом не то, что их отличает, что с нашей точки зрения ставит
их гораздо выше их соратников-противников. Так было дело
с Ламеттри, этим первым выдающимся материалистом, с
Гольбахом, творцом знаменитого «евангелия атеизма» — «Си-
стемы природы», с Гельвецием. А сколько было других, их
сторонников и последователей, имена которых до сих пор
не выплыли еще из пучины забвения.

Производя разделение просветителей на правых и левых,
мы не руководствуемся только их расхождением в философ-
ских вопросах и их отношением к религии, хотя эти стороны
их мировоззрения в данном случае являются наиболее пока-
зательными. Нас интересуют также их объяснения обществен-
ной деятельности людей. «История мысли, — говорил
Г. В. Плеханов, — показывает, что понятие о законосообразно-
сти явлений природы усваивается людьми раньше и легче, чем
понятие о законосообразности общественных явлений. Прос-
ветители вполне усвоили себе первое из этих понятий... но в
своем большинстве они были далеки от правильного пони-
мания законосообразности общественного развития»⁷. Вот
именно то меньшинство, которое соединяло материализм
и атеизм с более или менее близким подходом к правиль-
ному пониманию второй проблемы, мы и относим к левому
крылу.

Как известно, правильное решение этой проблемы дал
только марксизм-ленинизм в теории исторического материа-
лизма, до него же господствовало идеалистическое объясне-

ние истории. Но Маркс и Энгельс имели своих предшественников, и в их числе должен быть назван столь презираемый буржуазным ученым миром Гельвеций.

Метафизическое (идеалистическое) объяснение истории и вообще общественных явлений характеризуется положением, что мнение правит миром, т. е. что от разума и просвещенности людей зависит более или менее совершенное устройство их общественной жизни. Этот взгляд господствовал среди просветителей XVIII в., да и после среди немарксистов.

Гельвеций, как и никто другой до Маркса, этого заблуждения не преодолел вполне. Но он подходил весьма близко к материалистической точке зрения.

Этот факт неоднократно отмечал Г. В. Плеханов. В своей книге «Очерки по истории материализма» например он говорил: «Взгляды Гельвеция угрожали столь широко распространенному в XVIII в. воззрению, что миром управляет общество мнение... Он полагал, что мнения людей диктуются их интересами... что эти самые интересы не зависят от человеческой воли»... Хотя он и не мог выйти из порочного круга метафизического объяснения, «но все же хотел связать возникновение самых разнообразных и редких законов, обычаяев и мнений с реальными общественными потребностями»⁸.

К Гельвецию вполне приложимо то, что Фр. Энгельс говорил о французских материалистах вообще: «Французские материалисты не ограничили своей критики только областью религии: они критиковали каждую научную традицию, каждое политическое учреждение своего времени» («Об историческом материализме»).

На тех немногих страницах, которые он посвятил французской философии XVIII в., Карл Маркс точно определяет роль и значение французских просветителей.

«...Французское просвещение XVIII столетия, — говорит он⁹, — и в особенности французский материализм, представляет собою не только борьбу против существующих политических учреждений религии и теологии, но также открытую, ясно выраженную борьбу против метафизики XVII столетия и против всякой метафизики вообще... В метафизике, в различных направлениях идеалистической философии, господствовавших в XVII в. и беспощадно разоблаченных французскими материалистами, отражался и находил свое оправдание тот социальный порядок, против которого боролись «философы» — пред-

ставители революционизирующейся буржуазии. Философская борьба была только сопутствующей формой экономической и социально-политической борьбы. «Падение метафизики XVII столетия постольку может быть объяснено материалистической теорией XVIII столетия, поскольку само это теоретическое движение находит себе объяснение в практике тогдашней французской жизни. Жизнь эта была направлена на непосредственную действительность, на мирское наслаждение и мирские интересы, на земной мир. Ее антитеологической, антиметафизической, материалистической практике должны были соответствовать антитеологические, антиметафизические, материалистические теории».

Из двух основных направлений французского материализма — механического материализма, исходившего из физики Декарта, и материализма просветительного, исходившего от Локка, — наибольшее значение имело именно второе направление. Этот вид материализма, как говорит Маркс, «составляет, по преимуществу, французский образовательный элемент и ведет прямо к социализму».

Гельвеций был самым замечательным, самым блестящим и самым оригинальным представителем этого важнейшего течения во французской просветительной философии. Его «антитеологические, антиметафизические, материалистические теории», нашедшие выражение в книгах, написанных ярко и талантливо, в полном соответствии со вкусами передовой французской буржуазии XVIII в., послужили важнейшим орудием в подготовке французской революции.

Маркс в следующих словах устанавливает социалистические элементы в учении Гельвеция и связь между этими элементами и его материализмом:

«У Гельвеция, тоже исходившего от Локка, материализм получает настоящий французский характер. Он непосредственно применяется к общественной жизни (Гельвеций «De l'homme»). Чувственные впечатления, себялюбие, наслаждение и правильно понятый личный интерес составляют основу морали. Природное равенство человеческих духовных способностей, единство успехов разума с успехами индустрии, природная доброта человека, всемогущество воспитания — вот главные моменты его системы».

«Не требуется большого остроумия, чтобы усмотреть связь между учением материализма о прирожденной склонности к добру, о равенстве умственных способностей людей, о всемогуществе опыта, привычки, воспитания, о влиянии

иных обстоятельств на человека, о высоком значении индустрии, о нравственном праве на наслаждение и т. д. — и коммунизмом и социализмом. Если человек черпает все свои знания, ощущения и проч. из чувственного мира и опыта, получаемого от этого мира, то надо, стало быть, так устроить окружающий мир, чтобы человек познавал в нем истинно-человеческое, чтобы он привыкал в нем воспитывать в себе человеческие свойства. Если правильно понятый интерес составляет принцип всякой морали, то надо, стало быть, стремиться к тому, чтобы частный интерес отдельного человека совпадал с общечеловеческими интересами. Если человек не свободен в материалистическом смысле, т. е. если он свободен не вследствие отрицательной силы избегать того или другого, а вследствие положительной силы проявлять свою истинную индивидуальность, то должно не наказывать преступления отдельных лиц, а уничтожать антисоциальные источники преступления и предоставить каждому необходимый общественный простор для его существенных жизненных проявлений. Если характер человека создается обстоятельствами, то надо, стало быть, сделать обстоятельства человечными. Если человек, по природе своей, общественное существо, то он, стало быть, только в обществе может развить свою истинную природу, и о силе его природы надо судить не по отдельным личностям, а по целому обществу».

Самое место Гельвеция в родословной коммунизма и социализма Маркс устанавливает следующим образом:

«Фурье выходит непосредственно из учений французского материализма. Бабуисты были грубыми, нецивилизованными материалистами, но и более развитый коммунизм отправляется прямо от французского материализма. Именно: в таком виде, какой ему придал Гельвеций, материализм возвращается на свою родину, в Англию. На морали Гельвеция Бентам основывает свою систему правильно понятого интереса; исходя из системы Бентама, Оуэн основывает английский коммунизм. Живя в Англии в качестве изгнанника, француз Кабэ заражается тамошними коммунистическими идеями и по возвращении своем во Францию делается самым популярным, хотя в то же время и наименее глубоким представителем коммунизма. Дэзами, Гэй и другие французские коммунисты того же научного направления развивают материалистическое учение как учение реального гуманизма и логическую основу коммунизма¹⁰.

Гельвеций, так же как и все боевые атеисты XVIII в., не утратил своего значения и для нашего времени. Мы знаем, что Ленин в 1922 г. особо подчеркивал, какое большое значение имеет для антирелигиозной пропаганды «бойкая, живая, остроумно и открыто нападающая на господствующую поповщину публицистика старых атеистов XVIII в.» («О значении воинствующего материализма»).

А значение Гельвеция как одного из предшественников социализма и коммунизма только усиливает наш интерес к нему как к одному из самых ярких представителей атеизма и материализма XVIII столетия.

г л а в а 1

Детство и молодость Гельвеция

1. Годы учения

Клод Адриан Гельвеций родился в 1715 г. Точная дата его рождения не установлена; во всех биографиях и на портретах XVIII в. глухо указывается: «январь 1715 года».

По своему происхождению он не был чистокровным французом. Предки его вышли из Германии, из Пфальца, где они повидимому носили фамилию Швейцер или Швельцер (швейцарец), которая по господствующему среди ученых того времени обычай была переведена на латинский язык и стала «Гельвециус».

Тот предок Гельвеция, следы которого встречаются в истории, был врачом и бежал в Голландию вследствие преследования католиков в Германии. Он оставил много сочинений по медицине и алхимии. Дед Гельвеция, тоже врач, к концу XVII в. переселился в Париж, где и прославился своим врачебным искусством; ему между прочим приписывают открытие целебных свойств ипекакуаны (рвотного корня). Он был автором ряда медицинских книг. От него именно и ведет начало зажиточность рода Гельвециев. Отец Гельвеция тоже был ученым и врачом, сочинения которого имели некоторое значение в развитии медицины. Он был членом Академии наук, членом Государственного совета, занимал придворные должности и т. д. В традициях семьи Гельвеция наряду с умственными интересами была широкая благотворительность, бесплатная медицинская помощь; они повидимому не кичились своим благоприобретенным дворянством и ближе стояли к среднему сословию, чем к придворной знать".

Детство Гельвеция, насколько о нем известно, ничего замечательного собою не представляет. Это было детство

ребенка богатой семьи с неизбежными няньками, с гувернером. Ребенок очень рано приобрел вкус к чтению. В учебном заведении — коллеже — он проявил большой интерес к классической древности, на изучении которой в то время был построен весь план среднего образования.

Дело воспитания в XVIII в. находилось в руках духовенства, которое, естественно, стремилось выработать из своих учеников религиозных и преданных церкви людей. Иезуиты, в руки которых подобно большинству своих современников попал Гельвеций, были особенными мастерами по части калечения юных душ, хотя несомненно среди них имелось много опытных педагогов. Школьная дисциплина, суровая, не дающая свободы проявления индивидуальности ребенка, обычно приучала лишь к формальному усвоению преподаваемых предметов. Средняя школа, обучение в которой продолжалось пять или шесть лет, давала некоторое знание древних языков и латинских и греческих авторов. По этим авторам преимущественно изучали древнюю историю, поэзию, искусство красноречия и логику.

Только в классе риторики, являвшемся четвертым и пятым годами обучения, Гельвеций проявляет наконец некоторый интерес к учению. Его друг и горячий приверженец его теорий Сен-Ламбер, которому мы обязаны единственной сколько-нибудь полной биографией философа, приписывает заслугу в этом отцу Поре, его классному наставнику, заметившему якобы, «что этот воспитанник очень чуток к похвалам», и использовавшему его тщеславие, чтобы побудить к дальнейшим успехам.

Поре обратил внимание на то, что в сочинениях Гельвеция встречается больше идей и образных выражений, чем у других его товарищей, и стал прилагать особые усилия к развитию замеченных в нем способностей. Его старания увенчались успехом. Гельвеций, поощряемый похвалами и наградами, стал первым учеником не только в науках, но и в танцах и в фехтовании. Как это ни странно, но прежнее холодное отношение, если не отвращение, к писателям древности под влиянием наставника сменилось у него сильным интересом. Он достиг действительно глубокого проникновения в жизнь и отношения классического мира. Знание греков и римлян вообще тогда считалось обязательным признаком образованности, но Гельвеций и из своих современников выделялся в этом отношении.

Об его пребывании в последних классах коллежа, философском и богословском, дававших высшее по тому времени

образование, ничего неизвестно. Но, зная в основных чертах то, что вообще тогда давали учебные заведения, мы можем сказать, что много полезных знаний он там не приобрел. Даже такие науки, как физика и математика, подносились в образцах древности, хотя к XVIII в. эти образцы были оставлены далеко позади. И если в сочинениях Гельвеция как огромный недостаток мы отмечаем незнакомство его с опытными науками, с науками о природе и в частности о человеке, то этот недостаток следует отнести на счет постановки учебного дела его времени. Он получил только так называемое «общее образование» и в дальнейшем течении своей жизни не имел возможности по многим причинам избавиться от всех односторонностей этого образования. В этом отношении он невыгодно отличается от таких своих современников и единомышленников, как Дидро и Гольбах, которые стояли на высоте всех научных достижений своего времени¹². Еще в колледже Гельвеций познакомился с сочинением Локка «Опыт о человеческом рассудке», которое, как рассказывает его биограф, «произвело революцию в его понятиях».

Локк вообще оказал огромное влияние на развитие просветительского движения во Франции и на французский материализм. Очень немногие из просветителей не могут быть названы последователями этого знаменитого английского мыслителя. От него, как мы видели выше, Маркс в известном смысле ведет родословную утопического социализма. Влияние же Локка на Гельвеция было чрезвычайно велико.

По Локку Гельвеций учится философствовать; он впоследствии часто возвращается к нему и не упускает случая воздать ему благодарственную хвалу. Еще в подготовительный период своей жизни, отходя от светских развлечений и неопытной рукой занося в черновую тетрадь свои заметки и размышления о виденном и прочитанном, он в следующих образных выражениях говорит о своем учителе¹³: «Метафизики воображали, что они открыли в душе новые страны. Подобно путешественникам, они много лгали, и вместо того, чтобы нарисовать карту души и рассказать ее историю, они составляли воображаемые планы и рассказывали бабушкины сказки. Это продолжалось до тех пор, пока не появился правдивый исследователь, который открыл нам глаза на их выдумки». Этот правдивый исследователь — Локк. Здесь надо отметить, что как ни велико было на самом деле влияние Локка на Гельвеция, он очень рано начинает критически преодолевать его.

О дальнейшем образовании Гельвеция мы знаем только, что он занимался изучением права. Где и как изучал он его, неизвестно. Но к этому изучению он приступил, во всяком случае, уже со сложившейся привычкой к отвлеченному мышлению. Сен-Ламбер утверждает, что уже в эти годы он стремился к тому, чтобы установить, в каких отношениях находятся законы с человеческойатурой и со счастьем людей. В этом отношении он похож на Монтескье, с которым у него вскоре завязались настолько тесные отношения, что автор «Духа законов» еще до опубликования книги доверил рукопись своему молодому другу, подвергшему ее основательной критике. Монтескье тоже, занимаясь изучением законов, не остановился на формальном их усвоении, но пытался проникнуть с одной стороны в скрытые причины их возникновения и гибели, а с другой стороны хотел приспособить их к усовершенствованию человеческих отношений.

2. Гельвеций – «финансист»

Выбор карьеры для молодого человека сделали его родители. К этому времени отец Гельвеция, бывший придворным врачом, находился в немилости, а состояние его не было повидимому особенно значительным. Он выбрал поэтому для сына карьеру финансиста, продвижение в которой ему было обеспечено родственными, со стороны матери, связями. Вероятно и сам молодой Гельвеций не питал в то время особенного нерасположения к этому роду деятельности, так как рассчитывал, что служебные занятия не будут отрывать много времени от занятий науками, к которым у него уже успела наметиться склонность, и от развлечений, к которым его неудержимо влекли и ветренность, отличавшая его в то время, и окружающие примеры. Ему было вероятно около 20 лет, когда родители отправили его на выучку к дяде, брату его матери, занимавшему должность управляющего сбором косвенных налогов в городе Канне. Здесь он пробыл до 1738 г.

Эти несколько лет также оставлены в тени его биографами. Тут несомненно было положено начало тем экономическим познаниям, которые мы находим в его сочинениях. Впрочем, как рассказывает Сен-Ламбер, «он не столько занимался здесь финансами, сколько литературой и философией, и не столько этим, сколько женщинами». Оставив пока в стороне первый и последний из этих родов занятий, остановимся несколько на его духовных интересах. Тут можно

установить следующие немногие факты¹⁴. Он пишет стихи, о сохранении которых повидимому не заботится и сам, написал даже трагедию «Граф Фиеско», следов которой также не сохранилось, но особенный интерес проявляет к театру. Это увлечение он сохранил и в годы зрелости. Из его переписки с Ла-Шоссе, создателем патетического жанра в комедии, мы видим, что он работает над собой, читает лучших тогдашних поэтов, подвизается как поэт в местном кружке «любителей изящной словесности» и даже достигает некоторого успеха. Этот успех выразился в том, что Гельвеций, несмотря на всю свою незрелость, был принят членом в Канскую академию литературы.

В этом эпизоде впервые сказалась та черта характера молодого финансиста, которую даже благосклонные к нему современники называли тщеславием. Пролазничество его сказалось в том, что, не полагаясь на внутреннее достоинство своих стихов, Гельвеций прибегает к покровительству разных влиятельных людей. Встретив противодействие своим притязаниям со стороны членов этой академии, он обратился за поддержкой к одному местному профессору, затем к епископу, членам этой академии. Оба уступили его просьбам и провели в академию, причем выдвигали не столько его литературные дарования, сколько содержимое его кошелька, успевшего к тому времени приобрести солидный вес. Звание «финансиста» оказалось здесь услугу тщеславному и слабому поэту.

Что же представляли те «финансы», удача в которых не только облегчила Гельвецию его первые шаги на литературном поприще, но позволила ему впоследствии зажить важным барином и целиком отдаваться своему истинному призванию — литературной деятельности?

В XVIII в. правительство сдавало на откуп компаниям, синдикатам капиталистов, взимание различных налогов и пошлин. Пользуясь предоставленными им привилегиями, эти откупщики выколачивали из населения несравненно больше того, что вносились ими в казну. Никакого действительного контроля над взиманием налогов не было, это было настоящее золотое дно. Бесчисленные злоупотребления были естественным последствием этой системы, одной из самых страшных язв старого режима, язвы к тому же совершенно неизлечимой вследствие хаоса в государственных финансах. «Финансисты», т. е. члены синдиката откупщиков, приобрели в XVIII в. значительный вес. Это была совершенно новая общественная группа, образовавшая верхушку буржуазии.

Являясь посредником между государством и облагаемым населением, эта плутократия, имевшая свою исполнительную армию до 50 000 человек, жадных до незаконной наживы, естественно, навлекала на себя ненависть обираемого населения.

Сборщики налогов неизбежно обогащались. Множество обогатившихся ничтожеств выплывало на поверхность жизни, упивалось безудержно той властью, которую им давали легко нажитые деньги. Их безвкусная, кричащая роскошь резко выделялась на фоне общей нищеты, вызывая возмущение и гнев. «Откройте бухгалтерские книги финансиста,— говорит Гельвеций¹⁵, — и вы увидите, что наибольшая часть его личных расходов падает на удовлетворение фантазий, на покупку драгоценностей и т. д. Его потребности в этой области так же безграничны, как и его любовь к богатству». Среди этих жадных хищников были и исключения. Мы могли бы привести много примеров «финансистов», отличавшихся честностью и порядочностью за пределами сферы их операций. Да и на примере самого Гельвеция мы увидим, что положительные общественные качества могли сопутствовать и даже до некоторой степени искупать преступления перед обществом всей системы.

В этот мир наживы и произвола вступил Гельвеций. После нескольких лет обучения у своего дяди он в 1738 г. становится на собственные ноги. Королева, покровительствовавшая его отцу и матери, состоявшим при ней придворными, облагодетельствовала их и добилась от короля для их сына должности генерального откупщика, т. е. права вступить в синдикат откупов. За это право нужно было внести в личную кассу короля большую сумму денег. Пришлось занимать, но этот долг в несколько лет был покрыт из тех огромных доходов, которые давала должность. Получивши сначала только звание откупщика и всего лишь половинное место, Гельвеций очень скоро, спята-таки благодаря проtekции, стал получать полный доход генерального откупщика, выражавшийся в ежегодной сумме триста тысяч франков.

Двадцатипятилетний откупщик с большими связями, со светским воспитанием и лоском, обладавший к тому же незаурядной наружностью, должен был конечно иметь большой успех в легкомысленном обществе того времени. Его многочисленные успехи у женщин доставили ему славу легкомысленного человека, а среди ханжей и лицемеров от литературы и философии — даже славу развратаника. «Кажд-

дый день жизни Гельвеция, — пишет один из них¹⁶, — был страницей романа. Нельзя не стать одним из героев парижской жизни, если расходуешь щедрой рукой по тысяче франков в день. Он долго жил, как блудный сын, среди разврата». Его развлечения и сумасбродства были притчей во языцах. Особенно ополчались на него за то, что, обладая прекрасной фигурой и большой ловкостью в танцах, он, надевши маску, публично танцевал на подмостках оперы. Этим будто бы он унизил себя.

Если вихрь светской жизни и захватил чувственные стороны его натуры, то он во всяком случае «срывал не только цветы удовольствия, но и собирал плоды разума», как говорит от сам в своей поэме «О счастье». В это время Париж был центром умственной жизни всей Европы. По рассказам современников, эта жизнь там кипела с чрезвычайной силой, и Гельвеций, с ранней юности проявивший вкус и наклонности к умственному развитию, не мог остаться чуждым этому потоку. Мы видим его в литературных кафе, этих очагах просветительного движения в первую треть века, где он сводит знакомство со всеми интересными людьми тогдашнего Парижа и за модными философскими ужинами удовлетворяет свою любознательность к новым идеям и фактам. Он посещает затем, когда кафе выходит из моды, литературные салоны, где в живых и веселых беседах шлифуются разрушительные и безбожные идеи, воплощающиеся затем в брошюрах и книгах.

Впервые мы встречаемся с Гельвецием в салоне м-те де-Тансэн, одной из замечательных женщин XVIII в. Бывшая монахиня, обогатившаяся спекуляциями, маркиза де-Тансэн была в молодости замечательно красива и имела множество романов. Плодом одного из этих романов был знаменитый энциклопедист и математик Даламбер, которого она подбросила на церковную паперть, когда он родился, но готова была признать своим сыном, когда он получил известность. Ею написан также и литературный роман «Граф де-Коменж», но это ее детище не получило такой известности.

В этом салоне «собрались Монтескье, Фонтенель, Мэрэн, Мариго, молодой Гельвеций, Астрюк, все литераторы или ученыe, а среди них женщина, обладавшая глубоким умом и чувством», — рассказывает энциклопедист Мармонтель о своем первом посещении этого знаменитого салона¹⁷. Среди этого блестящего общества Гельвеций не выделяется: «внимательный и скромный, он собирал, чтобы современем начать сеять».

Он стоит уже на короткой ноге со многими писателями и учеными. Его богатство позволяло ему поддерживать целый ряд нуждающихся литераторов, уделять им щедрые пенсии из своих доходов, причем это меценатство отнюдь не носило характера презрительных подачек, как это часто бывает у разбогатевших высокочек.

Чтобы «угодить своему отцу», как говорит Сен-Ламбер, Гельвеций купил себе придворную должность метр-д'отеля (дворецкого) королевы. Королева в то время (1749 г.) еще «любила умных людей». Впрочем и должность-то эта не требовала никакой почти «службы», оставляла много свободного времени и по существу была чисто почетной. Напомним, что и Вольтер в свое время тоже внес в кассу короля хороший куш за «почетное» звание лакея его величества.

Поле критических наблюдений Гельвеция расширилось, и в его сочинениях мы найдем самые недвусмысленные следы его пребывания в придворном звании. Он бывает в Версале, резиденции короля и королевы и официальной любовницы короля м-те Помпадур. Среди блестящей и пустой придворной знати он ничем не выделяется. Странным образом его подавляет этот блеск и пышность, он робеет перед титулами, хотя прекрасно знает цену всем этим побрякушкам. Биографы его отмечают, что настоящим придворным куртизаном он не сумел сделаться.

В эти годы, исполняя свою обязанность откупщика, он много путешествовал, многое видел и наблюдал. Сопоставляя факты, рассказываемые о нем, с теми чертами, которые вообще отличали «финансистов», невольно приходится сказать: странный откупщик это был! Вместо того чтобы содействовать существующим злоупотреблениям или в крайнем случае смотреть на них сквозь пальцы, как делали все «честные» откупщики, Гельвеций пытается бороться с ними. Особенно охотно совершал он инспекторские поездки в различные провинции Франции, причем частым спутником его был Дюмарэ, один из ранних материалистов века, энциклопедист и философ, автор ряда атеистических произведений¹⁸. Его дружеские отношения с Гельвецием делают весьма вероятным его влияние на последнего.

Гельвеций никогда не вставал на сторону высших должностных лиц податного аппарата против обираемого населения. Он отказывался принимать деньги, поступавшие от конфискаций, и ему часто удавалось возвращать награбленное беднякам, пострадавшим от хищничества чиновников. Компания откупщиков очень неодобрительно относилась к

такому великодушному, и только расплаты за нанесенные убытки из его собственного кошелька заставляли откупщиков терпеть легкомыслие их собрата. «Он часто имел мужество быть оратором народа перед компанией и министром».

Он подавлял жадность низших служащих, указывал средства уменьшить их число, предлагал меры к увеличению доходности казенных земель. «Ему приходилось иметь дело с людьми ограниченными, а он им предлагал быть дальновидными; людям пожилым и зачерствевшим в своем ремесле он говорил о человеколюбии...». Конечно все это было донкихотством и никакой реальной пользы принести не могло. Он и сам, несомненно, видел это, и скоро должность откупщика стала ему в тягость. Однако только в 1751 г. он отказался от нее и от связанных с ней колоссальных выгод, чем вызвал крайнее изумление своих современников.

Гельвецию не просто надоело занятие, дававшее ему такие выгоды. Несомненно, он увидел и понял, что это дело несовместимо со служением тем идеалам, которым он к этому времени окончательно отдался. «Для философии он сделал то, что до сих пор делалось только для религии», — сказал кто-то по этому поводу. Но это сказано слишком сильно. Он только отказался от дохода в триста тысяч франков и от дела, к которому никакого призыва у него не было. Покидая откупа, он сохранял однако высокое общественное положение благодаря придворной должности и солидный капитал, позволивший ему стать крупным помещиком, и обеспечил себе таким образом досуг и свободу для занятий философией. Люди XVIII в. не были героями и мучениками идеи. Это надо твердо помнить. Их борьба за усовершенствование человеческого общества не была жестокой и кровавой борьбой класса, которому нечего терять кроме своих цепей. Они были весьма привязаны к благам жизни и, как мы на примере Гельвеция же увидим, не стеснялись идти на унижения перед своими врагами, чтобы эти блага сохранить в неприкосновенности. Они предпочитали лавировать среди подводных камней. Но корабль свой они все-таки упорно вели к цели.

И
С
А
С
С
С
С
С

г л а в а 2

Влияние современников и первые опыты

I. Гельвеций и Вольтер. — Поэмы Гельвеция

Мы видели, что уже с юношеских лет у Гельвеция появился интерес к философии. Прочитанная им в колледже книга Локка послужила первым камнем того фундамента, на котором он, много лет спустя, воздвиг здание своей философии. Погрузившись в Париже в поток развлечений, он однако не отказался от умственных интересов и не забросил своих занятий. Философия и поэзия и здесь продолжают привлекать к себе его взоры, а ряд выдающихся людей, с которыми он близко сошелся, прямым и косвенным влиянием поддерживали в нем этот интерес.

Из его ближайших учителей раньше всего нужно назвать Вольтера. В годы выхода Гельвеция на жизненную арену он еще не был «фернейским патриархом», предметом поклонения и энтузиазма для одних и трепета и бессильной ненависти для других. Но он уже был известен и как поэт и как философ.

Подобно многим другим молодым людям, двадцатирехлетний Гельвеций подверг его суду свои первые опыты. Вольтер, знавший и уважавший его отца, отнесся к молодому поэту со снисходительностью, может быть, сильно преувеличенной. Вообще этот исключительный по своим достоинствам и недостаткам человек, часто без нужды льстивый и двуличный, не может быть для нас авторитетом в оценке поэтических талантов Гельвеция. Но, устряя из его похвал, во множестве рассеянных во всех его письмах к Гельвецию, всю чрезмерность и напыщенность, мы должны заключить, что он усмотрел в юном честолюбце и талант, и стремления выше обычных.

Одним из первых стихотворных опытов, которые Гельвеций предложил на рассмотрение и критику Вольтера, был «Заговор Фиеско», трагедия, написанная им в двадцатилетнем возрасте. Но наиболее оживленная переписка завязалась между ними по поводу моральных стихотворных произведений Гельвеция, уже характеризующих в их авторе те устремления к философским вопросам, которые нашли завершение в его трудах в зрелом возрасте. В эти годы он является перед нами как поэт-философ, больше, пожалуй, поэт, чем философ. И как поэту Вольтер главным образом уделяет ему свое внимание. Так, он пишет «Советы г. Гельвецию о сочинении и выборе предмета морального послания», а в целом ряде писем, отмечая достоинства и недостатки его произведений, дает ему порою очень дальние указания. Несомненно и в личных свиданиях между ними — Гельвеций посещал изгнанника Вольтера в Сирее — продолжалось то же обучение с одной стороны и пламенное ученичество — с другой.

В нескольких словах мы остановимся на этих первых произведениях Гельвеция, написанных под непосредственным влиянием Вольтера.

Послание маркизе де-Шателе (близкому другу Вольтера) «О любви к науке» было первым из сохранившихся его опытов этого периода. Тема его следующая: наука рассеивает тьму; нет больше никаких чудес, все объясняется без них: элементы физического мира имеют свои законы; намечается теория любви и чувственных удовольствий, приводимых в связь с общественной средой.

Следующее произведение Гельвеция — «Послание г. де-Вольтеру об удовольствии», написанное около 1740 г. Здесь уже имеются все зародыши будущих теорий.

Нельзя обвинять удовольствие в тех преступлениях, к которым оно порою увлекает человека; удовольствие — это душа вселенной, двигатель жизни, творец искусств. Правильное направленное законодательством удовольствие отдельных людей приводит к благим результатам для всего общества.

И далее эти положения иллюстрируются. Мы у колыбели первого человека. Чувство любви к себе (себялюбие) принадлежит нераздельно человеческой натуре от самой колыбели. Оно направляет все шаги человека, сохраняет его жизнь. Яркими красками рисуется возникновение человеческих обществ в духе тех теорий, которые в древности еще, особенно у Лукреция, пленили воображение своей кажущейся логичностью и естественностью и которые в большой степени питали антирелигиозные теории у всех материалистов

XVIII в. Появляется земледелие как результат размножения людей и недостаточного для их прокормления количества даров природы; на помощь ему приходят ремесла. Источник всего — потребность и удовольствие. Зарождается право собственности — источник социального зла. Сильный вооружается. Со сталью в руке он хочет пожинать то, чего не сеял. И слабый, которого он принуждает к тягчайшему труду, тщетно взывает к богам о помощи. В эту эпоху всякая собственность куплена кровью. «Весь мир, — восклицает поэт, — лишь одну картину являет моим глазам: вдовы в слезах и хижины в огне!» Общественный интерес создает законы, которые должны покровительствовать угнетенной невинности. Но магистраты, поклявшиеся поддерживать и исполнять законы, нарушают свою клятву. Государственная власть «вооружается законами, чтобы обратить в рабство трусливых граждан, не осмеливающихся покарать ее за это». И вот эта власть, надевши корону, превращается в деспотизм. Сила и хитрость — источник царской власти. Страх эту власть укрепляет, а искусство политики «воздвигает величие тиранов на несчастиях мира». «Угнетенный целует руку, держащую его в угнетении, и из рабской покорности делает добродетель».

Выводов Гельвеций здесь еще не делает и не провозглашает права народов на восстание, хотя эти выводы напрашиваются сами собой. Но зато он с особенной силой подчеркивает, что удовольствие может быть источником и великих и низких поступков. «Жадный к удовольствиям магистрат» покорил людей под «незаконное иго».

Красноречивая вылазка в современность поражает в этом раннем произведении будущего автора книги «Об уме». «В глазах коронованного властелина, — говорит он¹⁹, — любовь к общему благу становится преступлением, и отказывающийся влачить оковы провозглашается мятежником. Сила и обман делаются властителями мира, и посейчас они царствуют под именем справедливости».

Антирелигиозные настроения в этом произведении также нашли себе выражение. Правда, об атеизме Гельвеция в это время говорить еще не приходится. Слова «бог», «высшее существо» фигурируют в этом послании повидимому не только как простые поэтические образы. Но представители бога на земле, проводники религиозного обмана бичуются с чисто просветительским жаром.

«То же самое удовольствие, один призрак которого внушиает судье любовь к власти, из смиренного священнослужителя часто творит тщеславного гордеца. Чтобы возвысить

амвон, он принижает трон и митре покоряет корону. Господствуя над умами толпы, этот поп из царей делает титулованных рабов, склоняющихся под его законами. Тот, кто провозглашает себя истолкователем божественных велений, по своему усмотрению повелевает толпой. Ловкое тщеславие скрывается от взоров смертных под окутывающими алтари облаками святости. Свирепый дервиши под вретищем и властвицей прячет тайну своих широких замыслов. Вы думаете он занят поисками путей к спасению? Нет, он ищет власти, удовольствие — его цель.

Этот мотив не случайность. Пытливый взор поэта-философа часто останавливается на религии и ее носителях, и духовенство всех церквей, а с ним и все положительные религии встречают в нем врага решительного и всегда готового нанести сокрушительный удар. Религия и суеверие для него синонимы.

Мы приведем еще небольшой отрывок из неоконченного или затерявшегося в свое время произведения Гельвеция «Послание о суеверии»²⁰.

«Во всякой стране эта корпорация, как бы умна она ни была, стремится без устали к своему собственному возвеличению. Под ложным предлогом интереса богов эта тщеславная каста лелеет свой собственный интерес. Постоянная и неизменная в своих дерзких замыслах, она дает могущественную поддержку своим сочленам. Разве ее не сдерживают суровые законы? Нет, она потихоньку добирается к неограниченной власти.

«Кто в состоянии вооружить против нее общественное невежество? Она не боится возмездия со стороны оскорбленных ею государей. И может ли вообще она бояться судей, законов? Ведь тот, кто истолковывает волю богов, стоит над царями. Ей одной дано отличать добродетель от порока, и она одна решает в делах правосудия. Поэтому она имеет право повелевать всеми. Чтобы сохранить это свое ревниво оберегаемое право, чтобы удержать всех в жестоком подчинении себе, духовенство запретило всем остальным людям пользоваться разумом. Оно потребовало, чтобы никто кроме него не поучал их. И тогда земля покрылась мраком. Фанатизм, рожденный среди погребальных холмов, вскормленный заблуждением в храме богов, стал предметом поклонения легковерной толпы. Скипетр в его руках сделался даром невежества, и над трепещущим миром оно распростерло свою власть. Глава его в небесах, нога его касается ада; балдахином ему служит эмпирей, а трон его — вселенная.

И народы, скованные тем сильнее, чем меньше они это подозревают, вообразили, что были свободны, когда признали его господство. Безумные видения окружают путь его, на лбу его красуется надпись: в лады ка на родов. В Лиссабоне и в Гоа его власть мечет громы, творит и разрушает, казнит и мильтует. Это оно в былья времена на берегах Африки в раскаленную медь заключало свою жертву, ножом Калхаса оно поражало Ифигению, в Авсонских полях погребало весталку, казнило добродетельного Сократа, всюду сеяло страх, вызывало войны.

«Но мне могут сказать, что не всегда же свирепый и кровожадный поп держал в руке убийственную секиру? Не всегда же обагрял он кровью алтари? Я отвечу, что если иногда он и казался смиходительным к людям, это случалось тогда, когда он чувствовал, что власть его непоколебима. Но лишь только свет истины воссиял над миром, лишь только мудрец замыслил подорвать авторитет власти, основанной на глупости, священник стал жестоким, беспощадным. Движимый интересом, он был непреклонен. Он повелевает убивать, он убийство делает священной обязанностью. И государь безвластен перед его судилищем, и тщетно призывает он на помощь к себе тот самый разум, который преследуют лживые пророки; напрасно взыывает он к умам, просвещенным знанием: они изгнаны из государства и изгнаны навсегда. Царь окружен глупыми подданными, неспособными защитить его от козней духовенства. И что в состоянии предпринять он, если слепая нетерпимость охватила сердца? Кто может ей противиться? Под священными знаменами суеверия одержимый этим безумством человек сражается, побеждает и гибнет. С благочестивой яростью он безжалостно попирает ногами родство, любовь и нежную дружбу.

«Когда представитель богов на земле повелевает совершить преступление, все становится законным, и ему повинуются, не рассуждая. Человеческая кровь, проливавшаяся язычниками, часто обагряла и христианские храмы. Слепцы, мы слишком долго воображали, что, убивая людей, мы воздаем честь небесам, что на алтаре милосердного божа мы в жертву приносим ненависть и бесчеловечность. Чтобы отомстить английскому сенату, Гарнет подвел страшную пороховую мину. Вы думаете, что это чудовище схвачено и ожидает казни? Нет, поджигатель в Лондоне, в Риме — он мученик».

Мы остановились на этих ранних произведениях Гельвеция, потому что уже отсюда можно вывести все позднейшие и более зрелые его взгляды. Здесь есть уже и интерес.

вызывающий удовольствием и себялюбием, и потребность, лежащая в основе развития человеческого общества, и сила, определяющая право. И здесь есть также революционное возмущение несправедливостями общественного устройства, и разоблачение низменного происхождения верховной власти, и обличение корыстного и свирепого духовенства. Он превзошел уже Вольтера силой этого обличения и предвосхитил взгляд Монтескье на страх как характерный признак общественной психики при деспотическом образе правления. За 18 лет до опубликования своего главного сочинения, до Ламетри, до Дидро, до Руссо, до Энциклопедии Гельвеций был уже ярко выраженным просветителем. Это указание в свою очередь позволяет нам утверждать, что все обвинения Гельвеция в литературных кражах отпадают сами собой, поскольку он еще до выхода в свет главных сочинений эпохи, до разгара философского движения был «философом» в основных чертах. Источники же высказанных здесь взглядов надо искать прежде всего у Гоббса и Локка, которыми наш автор в эти годы как-раз особенно интересовался, что видно из его черновой тетради.

В эти же годы и под тем же благосклонным наблюдением Вольтера Гельвеций работает над большой поэмой «О счастье», которую он пересмотрит уже перед своей смертью, на брасывает «Послание о лености и гордыне ума», сочиняет «Послание об искусстве».

Аллегорическая поэма «О счастье» к сожалению известна только в ее законченном виде, и поэтому не представляется возможным с определенностью сказать, что в ней принадлежит Гельвецию — начинающему философи и что написано в зрелом возрасте. Сличение этой поэмы с другими стихотворно-философскими опытами Гельвеция заставляет однако думать, что переделки не были значительными и касались только стиля.

В этом произведении мотивы антирелигиозные звучат еще сильнее, чем в только-что рассмотренных нами сочинениях. Здесь опять «мрачное лицемерие», посыпав главу пеплом и тело одевши во власяницу, ведет легковерную и слепую толпу своими преступными путями. Глубокая ненависть, безграничное презрение наполняют сердце поэта. И часто он не выдерживает рифмы и прибегает к прозаическим оборотам, чтобы сделать свои чувства яснее и доступнее. Он не ограничивается одними декламациями против поповства. Он пытается заглянуть глубже и ищет связей между религией и философией. Религиозные системы уже не представляются

нам простым обманом властолюбивых людей, путем одурманивания стремящихся подчинить себе всех и все. Системы порождаются стремлением все знать, все объяснить. Близкое родство между религией и философией устанавливается с недвусмысленной ясностью. «Если знание имеет границы, — говорит Гельвеций²¹, — если ум наш конечен, то безгранична гордыня. Некогда, увлеченный этой гордыней, Платон воображал, что ничто не ускользнет от его проницательности. Отделяя мышление от материи, он поучал, что наша душа вовсе не есть тот светоч, который рождается, растет и увядает вместе с телом, но, напротив, она, эта непротяженная субстанция, им управляет. Неделимый дух — она бессмертна». От души философствующий человек постепенно дошел до рассуждений о боге. И что такое бог? Это — путаница самых разнообразных и противоречивых свойств. Стоило ли терять время на эти пустяки? — спрашивает Гельвеций. — «Было бы гораздо лучше, если бы разум человеческий вместо того, чтобы творить богов, занялся поисками истины».

Этот атеистический выпад говорит уже о зрелости взглядов и преодолении тех колебаний, которые заметны были в самых первых произведениях Гельвеция.

В чем же истина? — невольно возникает вопрос. И Гельвеций спешит на него ответить. Истина в том учении, которое нам преподает Локк. Правда, Локк всего только поднял тот шлагбаум, который заграждал нам дорогу. Но и этого достаточно. Платонизм посрамлен, пирронизм поставлен на надлежащее место.

Чтобы лучше познать человека, Локк изучает его с колыбели и до самой могилы. Он наблюдает его ум, прослеживает, как мышление через двери различных органов чувств внедряется в человеческую душу. И он показывает, сколько заблуждений было порождено мошенническими догмами ученых и злоупотреблением понятиями.

На пути к истине стоят бесчисленные препятствия, доступ в храм истины охраняют ужасные чудовища. Здесь и Ленность, отупляющая умы в бездумном покое, и ослепительная Система идеализма, и отвратительный Деспотизм, окруженный виселицами, и Нищета... Упрямое Заблуждение препятствует старости войти туда, а Любовь отвлекает от истины юношество. И конечно среди этих чудовищ не последнее место принадлежит религиозному Суеверию. «Из глубины келий оно, устрашая, отгоняет от истины слабые и легковерные умы».

Разум разгонит тьму невежества, познание природы одностоит человечеству счастье, освободит его от религиозных суеверий и предрассудков, — такова основная идея этого типично просветительского произведения.

Изучение произведений Гельвеция этого периода позволяет сказать, что взгляды, нашедшие себе полное выражение в книгах «Об уме» и «О человеке», сложились уже в эти ранние годы, когда он занимался философией не систематически, а лишь изредка, отрываясь от службы и от развлечений. Он уже психолог и философ человеческого общества.

Перечитывая Локка и размышляя над ним, Гельвеций порой испытывает сомнения и делится ими со своим учителем и другом Вольтером. Вольтер часто пугается бесстрашия его выводов. Он чувствует, что ученик пренебрегает мерой и благородствием, которым он сам остается верным даже в самом интимном кругу, и он пытается осадить зарвавшегося. Так, в вопросе о свободе воли, которую Гельвеций отрицает, Вольтер высказывает следующим образом: «Благо общества требует, чтобы человек считал себя свободным; мы все поступаем согласно этому принципу... Если бы, к несчастью, фатализм был истиной, я не хотел бы такой жестокой истины». Фатализмом Вольтер здесь называет несвободу воли, зависимость ее от влияний внешней среды. И он прибегает к «бабьим», как он сам говорит, доводам: «неужели верховное существо, наделившее нас разумом, обмануло нас, не давши нам немного свободы?»

А вот другой вопрос, о который споткнулся Гельвеций, читая Локка, — вопрос о бытии бога. Он не удовлетворен локковскими доказательствами. И Вольтер пытается отклонить его от атеизма, говоря, что в мире существует целесообразность, служащая доказательством наличия разумного существа, сотворившего все.

Уже на этих двух примерах мы видим, что ученик пошел влево от учителя, что «бабьи» доводы нисколько не поколебали его²².

Вольтер оказал значительное влияние на Гельвеция благодаřа с одной стороны своему личному обаянию, а с другой — вследствие той роли вождя, которую он играл в наметившемся уже общественном движении. Но мы не склонны изображать его духовным отцом нашего писателя. Надо прежде всего помнить, что Вольтер в некоторых — и с нашей точки зрения немаловажных — отношениях остался позади его.

**2. Фонтенель, Бюффон, Монтескье. —
Критика „Духа законов“**

Был еще один человек, обративший внимание на юного откупщика и благословивший его литературные начинания. Это — Фонтенель, «Нестор литературы», проживший сто лет и в старости не утративший своего обаятельного и живого ума. Гельвеций, по свидетельству ряда современников, преклонялся перед этим человеком с огромными познаниями, с трезвым, холодным и немного ироническим отношением ко всему на свете. По словам Сен-Ламбера, Гельвеций любил беседовать с ним о трудах Гоббса и Локка. Нам трудно учесть, что у него взял Гельвеций. Переписка между ними не сохранилась, а в сочинениях Фонтенеля могли быть почертнуты мысли, которые в то время, как цветочная пыль, носились в воздухе. Отметим во всяком случае, что Фонтенель проповедует универсальный детерминизм, т. е. строго причинное объяснение всех явлений, и намечает теорию разума, основанную на физической и духовной природе человека. Быть может, у него заимствована и самая мысль посвятить вопросу о счастье целую диссертацию в стихах, так как Фонтенелем был написан трактат на эту тему. Часто ссылаясь на Фонтенеля в своих сочинениях, Гельвеций ставит его очень высоко.

Из друзей Гельвеция нельзя обойти молчанием также и Бюффона, знаменитого естествоиспытателя и в некоторой мере философа. Во время своих служебных командировок Гельвеций неоднократно посещает его в его поместье, замке Монбар. Между этими двумя во многом разными людьми были общие черты и общие интересы.

В своих сочинениях Бюффон охотно принимает защитную окраску верующего католика, а когда все-таки духовные авторитеты его осуждают, он с легким сердцем и насмешливой миной подписывает самые унизительные отречения от высказанных взглядов²⁸. Конечно никто этим отречениям Бюффона не верил, как никто не верил отречениям Гельвеция, так как всякий понимал, что только этим путем можно было купить у духовенства возможность дальнейшей спокойной работы.

Многие, основываясь на этом маскараде, причисляли Бюффона к верующим или в крайнем случае к деистам. Но он сам говорил: «Всюду, где я помещаю «творца», надо лишь поставить на его место силу природы, вытекающую из двух великих законов: притяжения и давления». В сочинениях Гельвеция, несомненного атеиста, часто фигурирует такая же маска.

И все-таки Гельвеций не был так осторожен, как его друг. Оттого и преследования против него вышли далеко за пределы легких щипков, которыми светская и духовная власти порой награждали Бюффона. И оттого, когда Гельвеций скомпрометировал себя своей книгой «Об уме», между двумя друзьями отношения охладились. Историю этого охлаждения мы находим у одного из поклонников Бюффона в следующем рассказе²⁴: «Когда я опасно заболею, — говорил Бюффон, — и почувствую, что приближается мой конец, я без колебаний пошлю за причастием. Это — долг перед общественным культом. Люди, поступающие иначе, — просто сумасшедшие. Никогда не следует переть против рожна, как это делали Вольтер, Дидро и Гельвеций. Этот последний был моим другом. Он провел в Монбаре в различное время более четырех лет. Я ему советовал ту же умеренность, и, если бы он меня послушался, он был бы более счастлив».

Если бы все влияние Бюффона на Гельвеция ограничилось только советами не переть против рожна, то на их связи не стоило бы останавливаться. Но Бюффон, старший по возрасту, обладал также и знаниями, далеко превосходившими средний уровень знаний образованных людей того времени. Еще до своих знаменитых трудов «Эпохи природы», «Теория земли» и «Естественная история человека» он считался выдающимся ученым. Он много путешествовал, был хорошо знаком с английскими философами и интересовался именно теми вопросами, на которых преимущественно останавливалось внимание Гельвеция. С другой стороны и вопросы, специально занимавшие Бюффона, не могли не интересовать и Гельвеция.

Если влияния Вольтера, Фонтенеля и Бюффона не нашли явного выражения в сочинениях Гельвеция, то влияние Монтескье может быть прослежено более полно. Об отношениях, существовавших между ними, имеется много рассказов, причем влияние Монтескье часто крайне преувеличивалось.

Утверждалось например, что книга «Об уме» («О духе») была написана исключительно под влиянием «Духа законов» Монтескье и в подражание ему. Об этом говорили в XVIII в. и по традиции продолжали говорить в XIX: «Гельвеций долго завидовал славе Монтескье. «Дух законов» казался тогда бессмертным творением XVIII столетия. Гельвеций вообразил, что он может вручить славе вторую подобную же книгу, и вместо «Духа законов» написал законы духа». Зависть, безудержное честолюбие — вот что с одной стороны будто было побудительными мотивами его писательской деятель-

ности, а с другой стороны он не имел никаких собственных взглядов. Только что цитированный критик²⁵ продолжает: «Его книга была составлена лишь из страничек, понахвачанных у Монтескье, Спинозы, Локка, Ламеттри, Гоббса, аббата де-Сен-Пьера, Бейля, Вольтера, Дидро, одним словом у всех философов свободной мысли и свободного дурномыслия». Этот критик, видите ли, слышал, что одна салонная дама, мадам Графини сказала про книгу «Об уме»: «Это только мусор, выметенный из моего салона», а другая, не менее знаменитая дама утверждала, что Гельвеций «только высказал то, что у всех было на уме». Но мы-то знаем, что выраженные им мысли вынашивались с ранней молодости и были закреплены задолго до выхода в свет и «Духа законов» и других книг его современников, из которых он будто бы «надергал» целые страницы. В черновой тетради и в стихотворно-философских опытах, т. е. в конце 30-х и начале 40-х гг., характерные для него идеи уже выражены вполне ясно, тогда как из известных писателей только Вольтер вышел на литературную арену раньше Гельвеция, а главные сочинения остальных появились позже. Так, Ламеттри начал писать с 1745 г., «Дух законов» Монтескье вышел в 1748 г., «Естественная история» Бюффона начала выходить с 1749 г., и в том же году вышло «Письмо о слепых» Дидро, Энциклопедия выходила с 1751 г. Такие произведения Монтескье, как «Персидские письма» и «О величине и падении Рима», вышедшие ранее, конечно могли оказывать некоторое влияние на Гельвеция, но это не могло быть тем влиянием, которое определяет направление мыслей, формирует, так сказать, писателя.

Гельвеций любил и ценил Монтескье, «Персидские письма» ему очень нравились, он даже усмотрел в них в некотором роде «путеводитель для законодателя». Но и только. Монтескье, в свою очередь, любил и ценил Гельвеция и, будучи посвящен последним в его планы литературной деятельности, предсказывал ему блестящее будущее. «Я не знаю, — говорил он,—сознает ли Гельвеций свое превосходство, но, что касается меня, я чувствую, что это человек, стоящий выше других». В единственном дошедшем до нас письме Монтескье к Гельвецию²⁶, датированном 11 февраля 1749 г., он высказывает и лично ему это свое мнение: «Мой дорогой Гельвеций, — пишет он, — я не знаю, действительно ли вы настолько выше других, насколько я это чувствую, но я чувствую, что вы выше других». Наиболее достоверные свидетели говорят нам только о дружеских отношениях, о взаимном уважении.

Гельвеций так же часто посещает Монтескье в его поместье, как и Бюффона; они также постоянно встречаются и в Париже. Он учится у него работать; он, может быть, именно у него заимствует привычку собирать всюду, где придется, слова и факты, удачные выражения и анекдоты и записывать их, чтобы впоследствии начинить ими свой труд и оживить свою мысль. Исследователи XVIII в. вполне справедливо говорят, что многие из книг тогда составлялись путем разговоров, а затем лишь писались. Гельвеций был одним из ловцов идей, рождавшихся в философских беседах, когда расстегивались камзолы, а парики слетали с разгоряченных голов. В этом смысле он был учеником Монтескье, много лет подвизавшегося в деле «охоты за идеями».

Во время составления своей знаменитой книги Монтескье не раз советовался с Гельвецием и обсуждал с ним важные вопросы, служившие предметом его работы. И кто знает, не обязан ли робкий «президент» смелой и последовательной мысли Гельвеция редкими вообще у него неробкими идеями? Разногласий же между ними вообще было не мало.

В этом отношении показательно и характерно не только для выяснения их отношений, но и для выявления развития взглядов Гельвеция то письмо, которое он написал Монтескье по прочтении рукописи «Духа законов» (*Oeuvres de Montesquieu pp. 723—725*).

После нескольких похвал, вполне естественных, он говорит в этом письме: «Вы так же щадите предрассудки, как молодой человек щадит самолюбие женщин, состарившихся, но еще желающих нравиться. Но не слишком ли вы их щадите? Священники еще куда ни шло: бросая кусочек пирога этим церберам церкви, вы берегаете себя от их укусов. Что же касается наших аристократов и деспотов всякого рода, то они, если поймут вас, сердиться на вас не будут. Этот упрек я всегда делал вашим принципам. Вспомните-ка, что, обсуждая их с вами в Бреде (поместье Монтескье), я соглашался, что они приложимы к нынешнему положению, но я утверждал, что писатель, желающий принести пользу людям, должен больше заниматься теми положениями, которые применимы к будущему, а не освещать те, которые становятся опасными, поскольку предрассудок воспользовался ими и стремится ихувековечить. Пользоваться философией, чтобы придать им значительность, значит толкать назад человеческий ум и увековечивать злоупотребления, которыми корысть и недобросовестность уже сумели ловко воспользоваться».

Гельвеций смотрел вперед, он ждал и предчувствовал грядущие изменения. В его убедительных и негодящих словах чудится уже голос тех потомков, к которым непрерывно устремлен его взор,—деятелей Великой революции. Плохо будет, говорит он, когда голос народа дойдет до трона. Государь может слишком поздно понять, как обманывали его придворные — вся эта «аристократия дворян и попов», «узурпирующая» власть «благодаря одной только привилегии рождения, без права, без таланта, без заслуги»... Теории Монтескье, покоящейся на разделении сословий, Гельвеций противопоставляет свою критику. Он знает только две формы правления: хорошую и плохую; хорошую еще нужно создать, а в плохой «все искусство управления состоит в том, чтобы перекачивать деньги управляемых в кошельки управляющих». В хорошей, где уважается свобода и собственность граждан, вовсе не нужно ваших «балансов», а нужно, «чтобы общий интерес проистекал из частного».

В этом огромном письме есть множество ярких и глубоких мыслей, направленных против Монтескье и одновременно против общественного и государственного строя Франции, на компромисс с которым, по мнению Гельвеция, Монтескье шел. Он показывает, как ничтожна власть монархов, так как «государственные доходы растерялись среди ста тысяч каналов феодализма, который без устали обращает их в свою пользу». «Половина нации обогащается нищетой другой половины». «Наглое дворянство», показывает он пальцем, и другие «промежуточные» сословия заботятся только о своих привилегиях, «всегда противоречащих естественным правам тех, кого они угнетают».

Еще более характерно письмо Гельвеция к его другу Соррену, разделявшему его критику «Духа законов». В нем он говорит, что слишком хорошо знает Монтескье и не думает, что его критика хоть в чем-нибудь заставит того изменить свои взгляды. Монтескье, мол, боится встать в противоречие с общепринятыми взглядами; «он сохранил свои предрасудки магistrата и дворянина, в этом источник всех его заблуждений». И опять, но уже не выбирая выражений, высказывает свое несогласие с «президентом». Какое законодательство может получиться из этого варварского хаоса законов, установленных силой, уважаемых невежеством, которые всегда будут в противоречии с хорошим порядком вещей?! «Нами управляет наследственная узурпация. Под именем французов существуют только корпорации индивидуумов, и ни один из них не заслуживает звания гражданина. Даже фи-

лософы... льстят частному интересу в ущерб интересу обществу». Если они, подобно Монтескье, будут защищать предрассудки, то царство их недолговечно, «и наш друг Монтескье, лишенный своего звания мудреца и законодателя, останется только магистратом, дворянином и верхоглядом».

Мы очень бегло остановились на этих двух замечательных письмах. Но тем не менее мы имеем право на основании сказанного сделать вывод, что перед нами зрелый мыслитель, человек с устойчивыми и резко формулированными взглядами. Он проделал уже большой путь в своем развитии. Он уже крепко установил свою цель — изменение государственного порядка, реформу, по его замыслу, но реформу, силою вещей превращающуюся в революцию. Его программа — законодательство, основанное на сочетании частных интересов с общими, обеспечивающее свободу и собственность каждого гражданина. Иными словами: разрушение феодального порядка и установление буржуазного общества.

Мы не будем здесь останавливаться на том «Комментарии» к «Духу законов», который был написан Гельвецием на полях его экземпляра этой книги, потому что мысли, изложенные им тут, имеются и в других его сочинениях. Отметим только, что в этих замечаниях, написанных вероятно в 1749 г., полностью сказываются разногласия с Монтескье по ряду самых существенных вопросов.

Мы рассмотрели взаимоотношения Гельвеция с четырьмя выдающимися людьми эпохи — Вольтером, Фонтенелем, Бюффоном и Монтескье — и параллельно проследили главные этапы в развитии его миросозерцания в период общения с этими людьми. Никто из них не подчинил его своему влиянию, хотя все они принадлежали к старшему поколению просветителей. Но в той или иной мере каждый из них содействовал выработке в нем революционного мыслителя, как содействовала этому и вся французская действительность, окружавшая его в этот подготовительный период его жизни. И вещи, и люди — все направляло его к тому, чтобы оторваться от старых связей и повернуться лицом к далекой еще цели — изменению невыносимого порядка в обществе и государстве. Эту цель он твердо намечает в своих первых литературных опытах и в своих столкновениях с людьми. Еще до Энциклопедии, до разгара того движения общественной мысли, которое было высшим воплощением революционной идеологии французской буржуазии, Гельвеций является истинным энциклопедистом. Его антирелигиозность тесно связана с критикой общественного порядка и политических

учреждений. Он с полной ясностью понимает, что «справедливый» общественный порядок можно установить только в результате коренной ломки. И правильное классовое чутье направляло мысль его на верный путь: католическая церковь со всем ее аппаратом и со всей ее идеологией должна была в первую очередь подвергнуться ударам, потому что она являлась цементом, связывавшим все части феодального здания. «Великим интернациональным центром феодальной системы была римско-католическая церковь,— писал Энгельс.— Она окружила феодальный строй священным ореолом божественной благодати. Свою собственную иерархию она установила по феодальному образцу. И в конце-концов она была самым крупным феодальным владельцем, потому что ей принадлежало не менее третьей части всего католического землевладения. Прежде чем выступить на борьбу с светским феодализмом в каждой стране в отдельности, необходимо было разрушить эту его центральную священную организацию»²⁷.

Глава 3

Гельвеций — просветитель

1. Подготовка книги „Об уме“

Гельвеций не похож на народолюбцев, каких мы привыкли видеть в истории русской интеллигенции. Он не сгорает жаждой подвига, жертвы. Ликующее зло, правда, колет ему глаза, зажигает в них искорки ненависти, заставляет биться немного сильнее его спокойное сердце, но огня борьбы нет в нем, и в душе его не клокочут бешеные порывы. Он не Добролюбов, не Чернышевский — просветители русского народа, хотя он в своей стране за сотню лет до них делал то же дело в обстановке, обусловленной тем же строем общественных отношений.

Тип профессионального литератора-публициста тогда еще только нарождался, а на независимый литературный заработок никто из просветителей еще не жил. Заниматься литературой можно было, или имея состояние, как Вольтер, Монтескье, Гельвеций, Гольбах, или пользуясь поддержкой в виде пенсии от какого-нибудь мецената (богатого покровителя литературы, искусства и проч.) или монарха, как Руссо, Дидро, Даламбер, или наконец между делом, занимаясь какой-нибудь профессией.

Освободившись от своей должности генерального откупщика и оставил за собой для сохранения общественного положения только придворную должность, никакого его не стеснявшую, Гельвеций начал по-новому устраивать свою жизнь.

Женившись на немолодой уже Анне Екатерине де-Линевиль, Гельвеций в августе 1751 г. поселился в своем имении, купленном незадолго до этого, и зажил жизнью крупного помещика-феодала.

В последующем он большую половину года проводит вне Парижа, посвящая свое время частью занятиям — подготовке

своей книги «Об уме», частью своим помещичьим делам, развлекаясь при этом конечно в обществе часто наезжавших гостей — друзей и родственников.

Жизнь, которую Гельвеций вел в течение зимних месяцев в Париже, никакого не походила на его прежнее времяпроживание. Это отнюдь не была рассеянная светская жизнь.

В его богатом отеле собирались по средам выдающиеся писатели, художники, артисты и просто интеллигенция. Он—все еще только меценат пока, покровитель писателей, угощающий их великолепными обедами и дающий им возможность в сочувственном кругу высказывать самые смелые мысли, что далеко не было в обычae других салонов. Но он их единомышленник; они знают, что он работает над большим трудом, могущим поглотить несколько лет жизни. Он уже их собрат, и они чувствуют себя у него, как дома. С каждым годом эта связь крепнет, его салон становится известным не только во Франции, но и за границей, особенно после выхода в свет его книги и после шума, поднятого вокруг нее. Иностранные, приезжающие в Париж, спешат привести гонимому философу дань уважения и сочувствия. Мы видим среди них Давида Юма, Гиббона, Адама Смита, Беккариа и других.

Со своими единомышленниками Гельвеций общается и вне дома. Мы всегда встречаем его в салоне Гольбаха, салоне энциклопедистов по преимуществу. По воскресеньям у барона, как просто называли Гольбаха его друзья, собирается широкая публика — ученые, писатели, артисты и т. д. Но по четвергам были «дни синагоги». В эти дни мы находим там более тесный круг. Это был настоящий центр движения, очаг его.

«Как ни значительно было действие Энциклопедии, — говорит один из исследователей того периода²⁸, — однако беседы в доме Гольбаха оказали еще большее действие на современное общество... Великая заслуга барона Гольбаха в том, что он сумел объединить людей, которые без него, быть может, никогда не узнали бы друг друга, поставить их объединению ясно выраженную цель и, собрав таким образом все активные силы, побудить их сосредоточить все усилия в одном и том же направлении. В этом деле, которое он считал самым полезным, он проявил ни с чем не сравнимую страсть, настойчивость и преданность».

Мы позволим себе привести здесь еще рассказ одного из участников этих собраний, аббата Морелле. «Среди обществ, доступ в которые открыло мне мое рвение к делу фи-

лософов, — пишет он в своих мемуарах²⁹, — общество барона Гольбаха я должен поставить на первое место по той пользе, удовольствию и поучительности, какие я извлек, посещая его... Там-то нужно было послушать самую свободную, самую воодушевленную и самую поучительную беседу, какая только возможна; когда я говорю — свободную, я имею в виду философские, религиозные и политические вопросы, потому что вольности другого рода были оттуда изгнаны... Нет такой политической и религиозной крайности, которая там не была бы выдвинута и не обсуждалась бы со всех сторон, почти всегда с большим остроумием и глубиной. Часто слово брал кто-нибудь один и, никем не прерываемый, спокойно излагал свою теорию. В других случаях происходили словесные дуэли, а остальные присутствующие оставались только мирными зрителями... Там-то, нужно это сказать, Дидро, доктор Ру и сам добряк-барон догматически воздвигали абсолютный атеизм, атеизм «Системы природы», с убежденностью, искренностью и честностью, поучительными даже для тех из нас, которые, подобно мне, не верили в их учение».

Какую позицию в этих спорах занимал Гельвеций, добродушный аббат-вольнодумец не говорит, но догадаться не трудно, зная с каким багажом вступил он в это общество. Впрочем не надо и догадываться: у нас есть прямой свидетель и к тому же такой компетентный свидетель, как Дидро. Место действия его рассказа — салон самого Гельвеция, а по времени описанный эпизод нужно отнести к началу 50-х годов³⁰. Вот этот рассказ:

«Однажды у Гельвеция мы ожидали вечером часа ужина. Как всегда, возник спор о том, что такое душа, т. е., по существу, что такое бог. Когда все высказались, Гельвеций топнул ногой, чтобы водворить тишину, подошел к окну и закрыл ставни. «Смотрите: это — ночь, — сказал он. — Принесите огня». Ему принесли горящий уголек. Он поднес щипцы с углем к свечке, подул на него, и свеча загорелась. «Унесите этого бога», — сказал он, показывая на уголь. — Это душа, это жизнь первого человека. Огонь, которым я воспользовался, находится всюду — в камне, в дереве, в атмосфере. Душа — это огонь, огонь — это жизнь. Сотворение мира — гипотеза, гораздо менее чудесная, чем та, которую я пытаюсь вам объяснить». Сказав это, Гельвеций зажег вторую свечу. «Вы видите, что мой первый человек передал жизнь дальше без существования бога».

«А вы разве не видите, — сказал тогда Дидро, — что, пытаясь отрицать существование бога, вы сами его доказа-

ли. Я согласен, что жизнь на земле имеется. Но должен же был кто-то зажечь огонь: уголек ваш не загорелся ведь сам собой».

На этом рассказ Дидро обрывается, и от него мы не узнали, что ответил Гельвеций на такое «убийственное» возражение. Но мы знаем это от самого Гельвеция. В черновой тетрадке его, в которую он задолго до изучаемого периода записывал свои мысли и наблюдения, имеется мысль, с полной категоричностью устраниющая возражение Дидро и в то же время ярко свидетельствующая о том, что Гельвеций гораздо раньше своих друзей пришел к полному атеизму. Эта мысль выражена им в следующих коротких словах: «Материя огня. Если эта материя не может существовать без движения, то следовательно движение присуще материи, и следовательно нет никакой нужды в боже, который ее наделил бы этим движением»³¹.

Кроме салонов Гольбаха и Гельвеция энциклопедисты бывали также в салоне мадам Жофрэн, где обычно собирались литераторы и артисты. О посещениях этого салона Гельвецием рассказывает уже упоминавшийся выше Мармонтель, один из тех энциклопедистов, которые под влиянием революционных событий отошли впоследствии в лагерь реакции и сожгли все, чему поклонялись. Нерасположение к Гельвецию, чувствующееся в его рассказе, вытекает именно из последнего обстоятельства.

«Поглощенный своей ненасытной жаждой приобрести литературную славу, — рассказывает Мармонтель³², — Гельвеций приходил к нам туда с головой, полной еще тех мыслей, которыми она была занята во время утренней работы. Желая создать книгу, которая отличила бы его, он прежде всего был занят поисками или какой-нибудь новой истины, или смелой и новой мысли, которую он смог бы выдвинуть и защитить... И мы забавлялись, глядя, как он выкладывает перед нами один за другим вопросы, которые его занимали, или трудности, над которыми он бился. Доставив ему в течение некоторого времени удовольствие и поспорив по поводу этих вопросов, мы в свою очередь вовлекали его в поток наших бесед. Он отдавался им тогда целиком, и в этом дружеском общении был настолько же простым, естественным и наивно откровенным, насколько в сочинениях своих он проникнут духом системы и софистики...».

Благосклонностью хозяйки этого салона и его завсегда-таев Гельвеций пользовался впрочем только до выхода в свет его книги или, правильнее сказать, до скандала, выз-

ванного выходом его книги. После того как он, по выражению Мармонтеля, «надурил», отношение к нему в этом салоне резко изменилось.

Всюду — на собственных приемах, в салонах других, при случайных встречах и во время визитов — Гельвеций занимался «охотой за идеями», слушал, учился и наблюдал. Недоброжелатели вроде Мармонтеля говорили, что своей смелой книгой он хотел купить себе литературную славу. Пусть тщеславие у него было сильно развито. Но, если мы проследим его жизнь с самых юных лет, мы должны будем признать, что главной целью его была «истина», не холодная и отвлеченная, далекая от людей с их радостями и горестями, а живая, земная, исцеляющая — польза и благополучие «человечества» под которыми разумелись классовые интересы буржуазии. Эту «истину» он вынашивал в течение многих лет и всюду искал ее подтверждения. Свой собственный салон он использовал для этой цели, часто забывая об обязанности хозяина занимать гостей. «Он бросал свои парадоксы, а когда спор разгорался, он не вмешивался в него, чтобы обеспечить себе то хладнокровие, которое нужно, чтобы отличить часто трудно уловимые черты истины и заблуждения», — рассказывает еще один участник этих собраний.

Мы видим уже Гельвеция тесно связавшимся с той группой писателей и учёных, которую принято выделять из общего потока движения как энциклопедистов. И Гельвеция очень часто действительно называли энциклопедистом. Хотя это фактически и неправильно, потому что он не написал ни одной статьи в Энциклопедии, но по своему направлению, по связям, по своим интересам он к этой группе должен быть отнесен скорее, чем к какой-либо другой. Сопоставляя круг вопросов, которыми он в этот период занимался и которые разработаны в его книгах, с вопросами, составлявшими главное содержание Энциклопедии, мы должны заключить, что его работа идет параллельно с работой энциклопедистов. Та же цель, те же стремления, то же содержание.

Творцом, вдохновителем, вождем Энциклопедии был Дидро. Но его жизнь не целиком была поглощена этой грандиозной работой. Его пламенная натура проповедника побуждает его к творчеству и пропаганде помимо Энциклопедии. Восприняв атеизм Гольбаха, он безудержно расточает кругом свои новые убеждения. Его кипящий вечно мозг и гениальное перо всегда в распоряжении друзей. Ряд страниц в «Системе природы», «Философской и политической

Историй колоний и торговли европейцев в обеих Индиях», знаменитой книге аббата Рэйналя, написан им.

На этом основании часто говорили, что и в написании книги Гельвеция он принимал деятельное участие. Гельвеций, мол, «подбирал крошки Дидро»³³; Дидро, прежде чем опровергать Гельвеция, «напитал» самые смелые главы его книги³⁴; он «несомненно написал целые страницы и во всяком случае дал ему исходную мысль — чувствительность как свойство материи»³⁵. Во всех этих суждениях оказывается лишь незнакомство с историей взглядов Гельвеция с одной стороны, а с другой — неправильное представление о существовавших между ними отношениях.

Тесной дружбы, которая позволила бы Гельвецию воспользоваться сотрудничеством Дидро, между ними не было. Они встречались в салонах. Дидро не ездил, как другие, более близкие друзья Гельвеция, к нему в его поместья. Они не сходились во многом и часто при встречах ожесточенно спорили по самым важным вопросам.

Об одном таком споре между ним с одной стороны и Гельвецием и его другом Сорэном с другой рассказывает сам Дидро в одном из своих писем к Софье Волан³⁶. Дело шло о том, могут ли существовать люди без какого бы то ни было чувства добродетели или понятия бессмертия. Гельвеций и его друг утверждали, что это чувство и это понятие не прирождены людям, и следовательно такие люди существовать могут. Дидро не соглашался с ними и занял довольно двусмысленную позицию. Он говорил между прочим, что если добродетель не пустое слово, то из самой сущности добродетели должно рождаться в людях чувство, отклоняющее их от преступных действий.

Конечно обмен мыслями между людьми, единомыслящими в основном, неизбежно должен был оказаться в их взаимном проникновении взглядами друг друга. В таком смысле Гельвеций «подбирал крошки» Дидро, но и Дидро «подбирал крошки» Гельвеция.

Из других энциклопедистов в эти годы никто еще не оформился и не созрел настолько, чтобы ставить относительно них вопрос о влиянии на Гельвеция, — разве Даламбер, ближайший сотрудник Дидро по Энциклопедии, математик, но в то же время и философ. Он был скептиком и на все основные вопросы философии отвечал незнанием. В морали он, правда, шел дальше традиционных взглядов, но все же основой ее считал приобретаемое людьми познание естественных законов добра и справедливости, т. е. основывал

ее на человеческой природе, а не выводил из законов общественного развития, как это пытался сделать Гельвеций. В других вопросах он не выходил из намеченных общим движением границ.

Следует упомянуть еще Кондильяка, так же как и Гельвеций, не принимавшего прямого участия в Энциклопедии, но стоявшего близко к ней. Многие считали Гельвеция учеником Кондильяка. Но Гельвеций, как и он, как и Вольтер и многие другие, — ученик Локка. Он мог заимствовать у Кондильяка отдельные мысли, поскольку оба они в своих построениях исходят из чувственного восприятия, но между ними были существенные расхождения, в частности по вопросу о душе и о боге, вопрос который Гельвеций разрешил более последовательно, как материалист и атеист.

С большим успехом можно проследить в подготавляемой Гельвецием книге влияние Ламеттри, умершего в 1751 г. в Берлине и не имевшего непосредственной связи ни с кем из философов, кроме Вольтера. В сочинениях Гельвеция можно найти выражения, почти целиком взятые у автора «Человека-машины» и «Анти-Сенеки». Но значение Ламеттри, как философа, не было еще ясно в XVIII в., и его идеями пользовались часто совершенно несознательно. Построенный на естествознании материализм этого застрельщика не мог повлиять решающим образом на Гельвеция, стоявшего как-то вне естествознания, и только его мысли о роли чувственного наслаждения и выводы отсюда в области морали, политики и религии могли остановить внимание Гельвеция и оплодотворить его мысль.

Были у Гельвеция еще друзья, которых нельзя обойти молчанием, говоря о той среде, в которой он вращался, когда обдумывал и писал свою знаменитую книгу. Об одном из них, Дюмарэ, мы уже упоминали. Человек, терявшийся среди блестящего светского общества, скромный, но глубокий ученый, он совершенно неизвестен истории как материалист и убежденный безбожник. Как и Гельвеций, он исходил из сенсуализма Локка и преодолевал его недоговоренности. Он признавал также, что вся нравственная жизнь людей определяется их интересом. Во всех своих поступках люди стремятся непосредственно удовлетворить свои потребности. Их поступки обусловлены их интересом, в свою очередь определенным данным состоянием механизма их тела³⁷. При всем сходстве этих положений с положениями Гельвеция между ними есть и большая разница. Материализм Дюмарэ, как в основном и материализм Ламеттри, с которым у него мно-

го общего, — механический материализм. Гельвеций же, напротив, исходя часто из положений механического материализма, стремится объяснить поступки и нравы отдельных людей и человеческих коллективов условиями их социальной среды. Обычный, средний, так сказать, горизонт материалистов-просветителей его не удовлетворяет, для него узок. В этом его главное достоинство.

В числе близких друзей Гельвеция был также рано умерший инженер-философ Буланже. Он перед самой смертью гостит в имении Гельвеция и посвящает ему свою книгу «Изыскания о происхождении восточного деспотизма». Но Буланже интересовался исключительно историей религий, борясь, разумеется, как и все философы-энциклопедисты, с религией вообще и с католической религией в особенности. Его оригинальные взгляды остались заметный след на многих страницах атеистических книг Гольбаха, и у Гельвеция порой встречаются мысли, точно выхваченные из «Разоблаченной древности» Буланже.

В этой обстановке, то в уединении своего имения, то в кипящей атмосфере салонов Парижа, непрерывно учась и черпая из книг и из бесед с окружающими подтверждения своих взглядов, трудился Гельвеций над своей книгой. Слово «трудился» особенно применимо к характеру его сочинительства. Он не обладал легкостью пера Дидро или Руссо. Каждую страницу он переделывал по многу раз. «Книга Гельвеция, — писал Морелле³⁸, — мне представляется как бы выкованной, подобно тому, как выковано железное изделие, которое в кузнице десяток раз подвергают обработке... Чтобы написать главу, он потел очень долго. В книге «Об уме» и особенно в книге «О человеке» есть части, которые он составлял и пересоставлял по двадцать раз. Впоследствии я подолгу гостили у Гельвеция в его имениях, и я видел, как какую-нибудь одну страницу он пережевывал целыми днями, закрывши все ставни в комнате и прохаживаясь взад и вперед, чтобы разгорячить свои мысли или придать им такую форму, которая не была бы обычной. Я не знал ни одного писателя, работавшего с таким трудом и усилиями».

2. Выход книги. — Преследования

Наконец, огромная книга написана и переписана. С нею познакомились друзья и одобрили ее.

Гельвеций, вопреки обычным предосторожностям других писателей, не употребил псевдонима, не пометил, что книга

напечатана в Англии или Голландии. Правда, на обложке книги имя автора указано не было, но Гельвеций взял на свое имя «привилегию» на ее издание, т. е. поступил в высшей мере неблагородно.

Книга, выпускаемая легально, должна была пройти через цензуру какого-нибудь лица, занимающего ответственное положение. Гельвеций сам нашел себе цензора, очень любезного и снисходительного человека, который и предположить не мог, что такой достойный человек, богач, известный в свете своим легкомыслием, а вдобавок метр-д'отель ее величества королевы, может написать что-нибудь подрывающее основы. И уж никак не мог предполагать этот цензор, что, пропуская с подобающей снисходительностью книгу господина Гельвеция, он накличет беду на себя. Возможно, что он совсем не читал всей этой огромной рукописи или прочел ее очень бегло, останавливаясь, может быть, на анекдотах, которыми книга была наполнена в изобилии. Скрытого и разрушительного яда ее он мог не заметить, потому что Гельвеций частенько, маскируя этот яд, распинается в своем полном уважении к религии и властям предержащим. Как бы то ни было, цензор своею подписью посодействовал выходу книги в свет, впрочем только «разрешив» ее к печати, но не «одобрив».

Однако, уже когда книга находилась в печати, кто-то из доброжелателей, знакомый с ней по рукописи, обратил внимание властей на некоторые места. Эти места были изменены или выброшены самим автором с большой охотой и послушанием, так как сущности его труда они не касались. Так, от него потребовали, чтобы он не цитировал слишком часто Давида Юма. Он сам писал Юму в ответ на письмо последнего с выражением сочувствия и уважения по поводу преследований, вызванных книгой «Об уме»: «Ваше имя оказывает честь моей книге, и я его называл бы гораздо чаще, если бы суровость цензора мне это позволила». Еще он должен был заменить имя царствовавшего тогда Людовика XV именем Генриха IV. Другие изменения носили столь же ничтожный характер. Затем, когда книга вышла в свет и начала распространяться, некоторые страницы из нее были вырезаны, так как они показались слишком смелыми. Но гроза грянула только тогда, когда с книгой познакомились более широкие слои.

Время для выхода в свет такой книги было далеко не благоприятное. Семилетняя война была в разгаре, и Франция терпела поражения в Германии и в колониях. Внутренние

дела были тоже неважные. Парламенты были в немилости у короля, а общественное мнение считало их еще, несмотря на все их вопиющие недостатки, последним оплотом против деспотизма. Пустяковое покушение Дамиена на Людовика вызвало страшную реакцию и гонения на всякое свободомыслие. Архиепископ парижский в своем послании пастве по поводу избавления короля заявлял, что покушение было вызвано заблуждениями времени и «внесением в умы и сочинения множества принципов, возбуждающих подданных к неповиновению и возмущению против монархов». «Неповинование и возмущение» действительно замечались повсюду. По случаю спасения от смерти короля в Париже не было манифестаций и не служили торжественных молебнов, так как правительство боялось всеобщего восстания. Король издал декларацию, угрожавшую смертной казнью авторам, книгоиздавцам, книгоношам и вообще всем лицам, причастным к составлению и распространению сочинений, нападавших на религию или на власть. Выпустить книгу, в которой, несмотря на все противоцензурные ухищрения автора, велась решительная атака и против религии и против монархии, значило только еще более раздразнить гусей.

«Чертовский шум» вызвала книга «Об уме», как говорил один современник ее. Преследования начались чуть не с первого дня выхода ее в свет. Сначала министерство приостанавливает ее продажу. Через несколько дней государственный совет запрещает ее, как «опасную, скандальную и развратную». Вслед за тем король отменяет привилегию, запрещает переиздавать и перепечатывать ее «под страхом примерного наказания».

Эти первые гонения сразу обращают на автора всеобщее внимание, создают славу книге и содействуют ее распространению.

Гельвеций ждал шума и разговоров, ждал даже ожесточенной критики, предвидел запрещение. Но он не ожидал этой крайней ярости в преследовании. На него ополчились все силы старого строя; все — от короля и кончая последним попом — увидели в развитых им взглядах небывалое покушение на самые священные свои права и на самые основные устои общественного порядка. Наевые перья скрипели во-всю, а их было очень много в то время. Сочинялись пасквильные песенки на его счет, писались целые книги в оправдание гибельных теорий. Обвинения сыпались, как из рога изобилия. Он, мол, проповедует материализм и безбожие, повторяет порокам и даже прославляет их, требует

безнаказанности для преступлений; у него нет никакой морали, одна лишь голая чувственность.

Все это было бы еще ничего. Но король, королева, а особенно наследник, отличавшийся своим ханжеством, вчитываясь в книгу и вслушиваясь в поднятый ею шум, громко высказывают свое неудовольствие. Придворные и церковники интригуют. И Гельвеций начинает терять свою уверенность в том, что его общественное положение и положение при дворе его лично и его матери (отец к тому времени умер) гарантируют ему личную безнаказанность. На ум невольно приходит мысль о Бастилии, о Венсенском замке, где всегда имеются наготове казематы для дерзких литераторов. А наш автор, проповедник смелых гражданских чувств и доблестных поступков, по своей натуре и по воспитанию к героизму не склонен.

Да и только ли Бастилия угрожает ему? Вспоминается последняя королевская декларация, грозящая смертной казнью... Кроме того у него руки связаны, как он жалуется Вольтеру. Цензор, доверившийся ему, как придворному и влиятельному человеку, и только для формы цензуревавший книгу, находится под ударом. Надо спасать его.

Добавок ко всему друзья отворачиваются от него,— пишет он жене. Конечно то были друзья из власти имущих, друзья до черного лишь дня, из породы аристократических лизоблюдов, любившие его за его лукулловские пиры и видевшие в нем не писателя и мыслителя, а финансиста. Друзья из философского лагеря — с ним. Но что они могут сделать? Моральная поддержка и несколько едких ответов на потоки хулы и клеветы, струящиеся из-под наемных перьев. Слабая поддержка!

Гельвеций надеется на влиятельного иезуита отца Плесса, с которым связан уже двадцать лет и которому оказывал немаловажные услуги. Наивность! Святой отец, горящий ревностью к вере, встает в ряды его врагов. И в то время, как иезуиты наусыкивают на него двор, их противники в делах религии, но союзники по борьбе с вольнодумством, янсенисты, натравливают на него парламент. Последние даже громко требуют сожжения философа, чтобы, погубив его тело, спасти бессмертную душу. Такой метод спасения Гельвецию мало улыбался: ему нужно было спасти и душу и тело, а на худой конец хотя бы одно только тело.

С этой целью, по предложению иезуита Плесса, который, как говорит Сен-Ламбер, вел интригу против философа «с энергией и вороломством придворного попа», Гельвеций под-

писывает «маленькое отречение». В этом отречении он повторял сказанное им в предисловии к книге: его намерения были чистые, от отрекается от всего, что противоречит интересам человечества, и т. д. К этому побудили также и слезы его матери, женщины старых взглядов, богомольной до ханжества и на всех глядевшей через приворные очки. Но это отречение не помогло. Королева, обещавшая свою поддержку в случае, если он отречется, увидела его неискренность и нераскаянность.

«Поддержи мое мужество,— с отчаянием восклицает Гельвеций в письме к жене,— я в нем очень нуждаюсь». И он действительно нуждался в поддержке. В то темное время смертная казнь применялась слишком часто и по поводам, гораздо менее серьезным. Был же казнен один помещик за то, что в пятницу оскоромился дичиной. Был же несколько лет спустя казнен с чудовищной жестокостью Ла-Барр, не снявший шляпу перед религиозной процессией, и которому в вину ставилось, что из всей литературы он предпочитал книгу Гельвеция и «Философский словарь» Вольтера. Гельвеций не ошибался насчет возможностей.

От Гельвеция требуют второго, более унизительного отречения. Запугивают его жену, рассчитывая на ее влияние. Но она выражает готовность последовать за мужем в любое изгнание. Запугивают мать, употребляют ее как орудие. Гельвеций долго противится. В конце-концов он сдается и подписывает все, чего от него требовали. Говорят, главную роль в этом играет желание спасти цензора, но цензора все-таки покарали.

Пытались оправдать его: говорили, что весь позор падает на палачей, истогших у жертвы этот отчаянный крик-мольбу, говорили, что Гельвеций своим упорством погубил бы и себя и других, и много еще других оправданий было приведено. История знает и другие отречения на Западе и у нас. Вспомним поведение Радищева, декабристов. Слишком сильна была власть абсолютных despотов и слишком велико одиночество идеиных борцов. Только борцы, стоявшие во главе народных движений, смело шли на эшафот. Такого душевного подъема у Гельвеция не могло быть, и он подписал и третье отречение, потому что его заставили подписать еще и третье отречение. В его пользу можно во всяком случае сказать, что он написал потом книгу «О человеке».

Следует впрочем отметить, что такое поведение Гельвеция и в XVIII в., привыкшем к тому, что право приносить пользу делу просвещения часто покупается дорогой ценой, не всегда

находило сниходительную оценку. Например Мельхиор Гrimm, близкий друг виднейших энциклопедистов, создавший себе известность «Литературной корреспонденцией» — новостями из литературной и общественной жизни Франции, предназначенными для разных более или менее «просвещенных» монархов Европы, этот самый Grimm писал: «отречение Гельвеция настолько унизительно, что не было бы ничего удивительного, если бы человек предпочел скорее удрать к готтентотам, чем подписать подобные признания»³⁹.

Мы пока останавливались на одной стороне этого «громкого дела» и занимались преимущественно поведением обвиняемого, «преступника». Кто же выступал в качестве судей?

Из них в первую очередь нужно назвать Сорбонну. В настоящее время Сорбонна — высшее светское учебное заведение. Тогда это был «священный факультет», рассадник высшего духовного образования, верховный авторитет в делах веры. Больше того, это была стая цепных собак, которых спускали на всякого, кого духовенство хотело погубить. 1 сентября 1758 г. этому «священному факультету» была передана книга «Об уме» для суждения и решения. Это решение, вышедшее на латинском языке, было уничтожающим: светская власть имела все основания сжечь автора богохульной книги.

Второй судья — парламент. Хотя он ссорится с иезуитами и находится в оппозиции королю, но он стоит на страже законов и традиций и боится новаторов и вольнодумцев. Он прислушивается и присматривается: он слышит крики бесчисленных доносчиков, проповеди священников в церкви, он видит обращенные на него взоры, и, послушный, он разит.

Архиепископ парижский Кристофор де-Бомон — тоже судья. Он в немилости у короля, в изгнании. Но спасение души его прихожан для него всего важнее. А кроме того он хочет снова заслужить монаршее благоволение. И он тоже судит и выносит свой приговор.

Римская инквизиция тоже судит и осуждает: ей дело до всего, происходящего в католических странах, она не хочет оставаться позади в столь важном деле. А папа римский припечатывает своей апостольской печатью.

Все это дело тянется с 10 августа 1758 г., когда было вынесено постановление государственного совета, до 9 апреля 1759 г., когда был объявлен приговор Сорбонны.

Раньше всех со своим осуждением поспел архиепископ парижский. Это произведение воинствующей религии напечатано на 28 страницах большого формата. Достойный блю-

ститель благочестия, призывая имя господне, осуждает книгу Гельвеция, как содержащую «мерзкое учение, стремящееся разрушить основы христианской веры», как «проповедь отвратительного учения материализма, разрушающего свободу человека», как книгу, которая ставит себе задачей «нарушить мир в государствах, восстановить подданных против власти и против самой персоны их монархов» и т. д. в том же духе. «Мы решительно запрещаем всем лицам нашей епархии, — писал архиепископ, — читать или держать у себя названную книгу под страхом законного возмездия, оставляя за собой и нашими главными викариями власть отпускать прегрешения тех, кто это запрещение нарушит». Постановление архиепископа читалось во время богослужения в приходских церквях Парижа и его предместий и расклеивалось всюду, где это было удобно.

Папа Климент XIII вынес свой приговор после больших церемоний. Книга прошла через ряд инстанций, образующих аппарат духовной полиции двора римского первосвященника, и всюду была осуждена и обличена. Папа только резюмировал. Его долг искоренять те плевелы, которые враг человеческий сеет на полях господа. Книга Гельвеция как-раз к этим плевелам относится. А посему папа ее осуждает, запрещает ее читать, переписывать, перепечатывать, хранить. «Автор попирает все божеские и человеческие законы, разнуздыивает все пороки, подрывает основы католического учения и готовит души к погибели». Он стремится низвергнуть христианскую религию, уничтожить всякий естественный закон и порядочность, он принимает и защищает превратные и осужденные лжеучения эпикурейцев и материалистов, и книга его наполнена нечестивыми, скандальными и еретическими положениями. Отлучением от церкви грозит высший представитель бога на земле всякому, кто, имея эту книгу, не доставит ее немедленно по духовному начальству для сожжения.

Благодаря непрерывному обиванию Гельвецием порогов бесчисленного множества влиятельных лиц рассмотрение дела парламентом все откладывается. Связи его матери, а особенно его жены, оказали свое действие. Помогли конечно и отречения, выражавшие раскаяние автора. В конце-концов парламенту было приказано заняться только книгой, оставив в покое самого автора.

Только в конце января состоялся суд над книгою «Об уме». Обвиняемая появилась на скамье подсудимых в сообществе семи других книг, из которых особое внимание привлекала к себе Энциклопедия.

В своей речи прокурор обрушился на «кощунственных и мятежных авторов». Книга Гельвеция характеризуется им как «кодекс самых постыдных и гнусных страстей, восхвальное материализма и всего, что только может наверие сказать, чтобы внушить ненависть к христианству и католицизму».

Приговор вынесен. Дело Энциклопедии выделено. Остальные книги присуждены быть «разорванными на куски, а затем подвергнуться сожжению рукою палача у подножия главной лестницы парламента». 4 февраля этот приговор был приведен в исполнение.

Это было позорное наказание, пережиток средневековья, сохранившийся до революции и только ею уничтоженный. Отметим впрочем, что в последние годы старого режима вместо осужденных книг сжигались старые бумаги.

Гельвеций отделался в сущности очень легко; он был лишен придворной должности, и ему было предложено некоторое время жить в своем поместье. Цензор тоже лишился своей должности. А книга стала знаменитой. Все эти осуждения и сожжения ее не унизили и не уничтожили. Несмотря на все угрозы духовной и светской власти, она перепечатывалась в десятках тысяч экземпляров, продавалась, читалась, переводилась на иностранные языки. О ней говорили, писали и спорили. Порожденная ею литература, как в ее защиту, так и главным образом направленная против нее, весьма значительна.

Особенного сочувствия в лагере философов книга Гельвеция встретить не могла. Для огромного большинства его единомышленников высказанные в ней взгляды были слишком смелы и новы. Они могли одобрить его выпады против религии и деспотизма, но его мораль, основанная на интересе и пользе, его критика и анализ таких чувств, как дружба и родительская любовь, его утверждения о равенстве людей и объяснение происхождения неравенства воспитанием и общественной средой неизбежно должны были очень многих оттолкнуть от него. Из всех этих отзывов приведем только два, принадлежащие самым выдающимся умам Франции.

«Глупцы, завистники и ханжи должны были восстать против его принципов», — говорит Дидро в своем отзыве. Он во многом не согласен с автором. Но за многое хвалит его. «Это, — заключает он, — здоровенный удар дубиной по предрассудкам всех родов. Сочинение это будет полезно людям.. Оно будет отнесено к числу великих книг нашего века»⁴⁰.

Вольтер, изменчивый и неровный в своих суждениях, был

прежде всего недоволен тем, что Гельвеций не слишком хвалил его в своей книге. «Сколько шума из-за книги г. Гельвеция, — пишет он в одном письме, — вот уж история из-за выеденного яйца! Боже, до чего все это глупо!» Очень многое в книге ему не нравится. Великий мещанин в нем всплескивает руками и укоризненно качает головой. «Это сырой хворост, он дает мало огня и много дыма». Но он расположен лично к автору и неоднократно выражает ему свое сочувствие. Он даже уговаривает его покинуть Францию и переселиться к нему, в Швейцарию. Он защищает его перед теми из своих друзей, которые слишком уж резко высказываются против книги. И он кроме того мстит за него всем его гонителям в своих неподражаемых сатирах.

Не меньший шум был поднят книгой за границей. В Италии папское осуждение николько не помешало ее распространению. Она встречает там восторженный прием и находит горячих друзей. Французский посол при дворе Екатерины II писал Гельвецию: «По прибытии сюда я увидел, что русский ум так же занят вашими (намек на книгу). — И. В., как и вся остальная Европа. С величайшим удовольствием я беру на себя быть выразителем мнения просвещенных людей этого народа». Президент С.-Петербургской академии наук пишет ему, что он имеет «право на признательность всех людей», после чего Гельвеций вступает с ним в переписку и проповедует ему свободу слова. В Германии и Англии, где появилось несколько переводов его книги, успех был также значительным. Давид Юм вскоре по выходе книги в свет с похвалой отзывает о ней и о ее авторе, называя его человеком с тонким умом; он советует Адаму Смиту читать книгу не столько ради ее философии, которую он не особенно одобряет за материализм, сколько ради ее литературных достоинств. Во время своего путешествия в Англию и Германию Гельвеций имел возможность лично убедиться в своей популярности там. Успех книги вполне искупал преследования и страдания, которые она принесла автору.

г л а в а 4

Книга „Об уме“

I. Материалистическая философия Гельвеция

Содержание знаменитой книги Гельвеция при всей ее внешней осторожности и показной обходительности в отношении королевской власти, дворянства и католического духовенства действительно оправдывало и вызванный ею шум, и обвинения автора в мятеже против власти, в неверии, в материализме.

Уже в предисловии резкими и смелыми штрихами Гельвеций намечает свой метод и свою цель. «Принципы, которые я здесь устанавливаю, — говорит он, — соответствуют, по моему мнению, всеобщему интересу и опыту. От фактов я восходил к причинам. Я полагал, что мораль следует трактовать так же, как и все другие науки, и составлять теорию морали, как экспериментальную физику». Цель его — истина. Что это за истина, он конкретно еще не говорит. Как и у всех выдающихся людей того времени, это слово Истина — с большой буквы — было боевым кличем, знаменем, вокруг которого собиралась армия прогресса, выступающая в бой с заблуждениями во имя блага человечества. «Во всем, о чем я говорил, я стремился лишь к истине; не только ради чести высказать ее, но потому, что истина полезна людям». Он допускает, что может заблуждаться, но ведь нужно помнить, что только смелым попыткам в поисках нового и истинного человечество обязано часто открытием величайших истин. Могут ли быть опасные истины? Конечно могут быть при известных обстоятельствах и с известной точки зрения. Таков уже жребий вещей человеческих. Но горе тому, кто по этой причине захотел бы лишить человечество познания их. «С того момента, как было бы запрещено познание некоторых истин, уже нельзя было бы высказать никакой. Тысячи могущественных людей, исполненных часто злого умысла, под предлогом, что иногда полезно замалчивать истину, совершенно изгнали бы ее из вселенной».

Гельвеций — горячий сторонник неограниченной свободы слова. Он знает, «насколько полезно обо всем мыслить и обо всем говорить», и знает, что «самые заблуждения перестают быть опасными, когда позволено опровергать их», ибо при наличии свободы заблуждения «сами собой повергаются в пучину забвения и одни лишь истины выплывают на обширных пространствах веков».

Эти слова выражают подлинный «крик души» автора. И если рядом с ними мы находим расшаркивания перед горнителями истины, то мы смело можем пройти мимо них. Это — маска, защитный цвет, и насчет истинного значения их никто не заблуждался.

Свою книгу Гельвеций делит на четыре части — *discours*, т. е. рассуждения. В первом рассуждении — «Об уме (духе) в самом себе» доказывается, что физическая чувствительность и память являются единственными причинами, производящими все наши идеи (понятия), и что все наши ложные суждения есть результат наших страстей и нашего невежества. Второе рассуждение изучает ум по отношению к обществу. Здесь доказывается, что интерес определяет все наши суждения о поступках других людей. Наша оценка этих поступков всецело определяется их полезностью или вредностью для интересов той среды, к которой мы принадлежим. Этот принцип Гельвеций последовательно применяет к отдельному человеку, к небольшим коллективам, к народу, к различным странам и наконец ко всему человечеству. Третье рассуждение он озаглавил: «Должен ли ум (дух) рассматриваться как дар природы или же как результат воспитания», а четвертое — «О различных названиях, даваемых уму».

Конечно проследить и изложить сколько-нибудь полно все «рассуждения» Гельвеция на небольшом числе страниц совершенно невозможно: уже по этому краткому перечню основных разделов книги мы видим, какую большую задачу ставит он себе. Но кроме того, как и другие произведения той эпохи, эта книга содержит в себе много тем и вопросов, для современного читателя не представляющих никакого интереса.

А Гельвеций вдобавок и среди писателей XVIII в. отличался особенной сочностью изложения, он очень любил делать порой неожиданные вылазки в самые разнородные области знания и обильно иллюстрировал свой текст примерами

и анекдотами. Мы попытаемся отметить лишь наиболее характерное.

Каковы причины, производящие все явления духовной жизни? Их две — физическая чувствительность и способность сохранять впечатления, т. е. память. Из них и развилось то, что называется духом, умом. Но, говоря более точно, и память есть производное от физической чувствительности.

Эти способности имеются и у животных, однако последнее стоят гораздо ниже людей в отношении ума. Это объясняется различием внешней, физической организации. Если бы природа вместо кистей рук с гибкими пальцами дала нам лошадиные копыта, то несомненно люди не знали бы ремесел, не знали бы жилищ, были бы беззащитны. Весь их ум, как у животных, был бы поглощен заботами о пище, о безопасности, и они дикими стадами блуждали бы в лесах.

Эта мысль Гельвеция о зависимости духовных явлений от физической организации и о значении потребностей в развитии ума породила целую литературу. Как и всякая смелая мысль, она сначала подняла бурю насмешек и опровержений, а потом стала завоевывать себе известное признание. Что в сущности скрывалось за этим странным утверждением? Означает ли этот «лошадиный парадокс» (выражение Вольтера), что по Гельвецию, как утверждал один из его критиков, «человек отличается от животных только определенной внешней организацией»?⁴¹ Нет, Гельвеций смотрит гораздо глубже, и эта мысль его далеко не случайное или мимолетное, как утверждали некоторые его «защитники», высказывание. В примечании, относящемся к этому месту⁴², он более подробно развивает ее. Его интересует именно вопрос о том, почему «душа» животных менее развита, чем «душа» людей. Причина этого отнюдь не в голом факте различия внешней организации. Ссылаясь на Бюффона, он указывает, что разница между человеческой рукой и лапой животных приводит к тому, что последние не только лишены почти совсем чувства осязания, но и не обладают «той ловкостью, которая необходима, чтобы пользоваться орудиями и делать открытия, предполагающие употребление рук». Кроме того жизнь животных более коротка и не позволяет им в такой степени, как это имеет место у людей, накапливать опыт. Животные более приспособлены затем к той жизни, которую они ведут, так как они имеют шкуру, защищающую их от холода, и естественные орудия защиты и нападения в виде зубов и когтей; у них меньше следовательно потребностей, и поэтому им не

нужно столько изобретательности, как людям. И наконец у Гельвеция имеется, правда в зачаточной форме, даже мысль о том, что известную роль в развитии ума у людей играет то, что они живут постоянными, а не временными, как обезьяны, обществами.

Гельвеций еще более усиливает свою мысль, говоря, что если бы из языка были изъяты такие слова, как «луки», «стрелы», «силки» и т. п. слова, предполагающие применение наших рук, то нация, лишенная выражаемых этими словами понятий, оказалась бы в отношении интеллекта на более низкой ступени, чем самые дикие племена.

Мы видим таким образом, что Гельвеций связывает человеческий разум через физическую организацию человека с теми трудовыми процессами, которые в эволюции человека сделали его столь отличным от животных. Эта мысль дает основание поставить Гельвеция на почетное место в ряду предшественников эволюционизма. И это эволюционистское высказывание отнюдь не случайно. К эволюционным выводам приводило Гельвеция все его миросозерцание — его материализм, его отрицание вмешательства божества в явления жизни. В его сочинениях можно было бы подобрать целую коллекцию эволюционистских взглядов и мыслей. Но, разумеется, на основании этого говорить об эволюционизме Гельвеция как сколько-нибудь продуманной системе нельзя⁴³.

Возвращаясь к оценке Гельвецием значения руки в развитии человеческой культуры, нужно сказать, что эта его оценка нашла должное признание и сыграла известную роль в истории эволюционной теории. Вслед за Гельвецием эту мысль подробно развивает дед Чарльза Дарвина, доктор Эразм Дарвин, в своей поэме «Храм природы», опубликованной в 1800 г. «Д-р Дарвин, — говорит историк эволюционных теорий Генри Осборн,⁴⁴ — цитирует Бюффона и Гельвеция, чтобы доказать, что многие особенности в строении человека указывают на то, что прежде он принадлежал к четвероногим, и свидетельствуют, что он еще и посейчас не вполне приспособлен к прямой походке. Человек мог произойти от отдельного семейства обезьян, у которого случайно мускул orropens противопоставил большой палец концам остальных пальцев и этот мускул постепенно увеличился благодаря упражнению у последующих поколений». У Чарльза Дарвина эта мысль затем получает дальнейшее развитие. Человек, говорит Дарвин, мог достигнуть господствующего положения в мире только благодаря применению рук.

Но полное развитие эта историческая в некотором роде мысль находит у Фр. Энгельса. В своей замечательной статье «Роль труда в процессе очеловечения обезьяны» Энгельс dialectически оформляет то, что было односторонне намечено Гельвецием, и значение руки в эволюции человека получает правильное освещение.

Решительный шаг в развитии от обезьяны к человеку был обусловлен тем, что функция руки стала принципиально иной, чем функция ног. Освобожденная рука могла совершенствоваться. Но рука не только орган труда, но также и его продукт. «Только благодаря труду, благодаря приспособлению и все новым операциям, благодаря передаче по наследству достигнутого таким путем особенного развития мускулов и за более долгие промежутки времени также и костей, так же как благодаря все новому применению этих передаваемых по наследству усовершенствований к новым, все более сложным операциям, — только благодаря всему этому человеческая рука достигла той высокой степени совершенства, на которой она смогла, как бы силой волшебства, вызвать к жизни картины Рафаэля, статуи Торвальдсена, музыку Паганини». «Но рука не была чем-то самодовлеющим, — продолжает Энгельс, — она была только одним из членов целого, необычайно сложного организма. И то, что шло на пользу руке, шло также на пользу всему телу, которому она служила».

«И чувство осязания, которым обезьяна обладает в грубой, неразвитой форме, развилось у человека рядом с развитием самой руки, при посредстве труда. Обратное влияние развития мозга и подчиненных ему чувств, все более и более проясняющегося сознания, способности к абстракции и к умозаключению на труд и язык давало обоим все новый толчок к дальнейшему развитию. Этот процесс развития не пристановился с момента окончательного отделения человека от обезьяны, но... в общем и целом могуче шествовал вперед, сильно подгоняемый, с одной стороны, а с другой — толкаемый в более определенном направлении новым элементом, возникшим с появлением готового человека, — об щ е с т в о м». «Благодаря совместной работе руки, органов речи и мозга не только индивидуумы в отдельности, но и в обществе люди приобрели способность выполнять все более сложные операции, ставить себе все более высокие цели и достигать их. Процесс труда становится от поколения к поколению более разнообразным, более совершенным, более многосторонним»⁴⁶.

Таким образом если Гельвеций не был эволюционистом в том смысле, какой мы теперь вкладываем в это слово в применении к естественной истории, и если он не был сознательным диалектиком по своему методу в философии, то его материализм во всяком случае приводил его к выводам, выходившим за границы распространенного в его время метафизического, или, что то же, механического материализма. Именно эти его рассуждения о значении руки в развитии человечества, о роли трудовых процессов и понимание того, что эта эволюция обусловлена общественным характером жизни людей и более высоким уровнем их потребностей, все это, как и многое, о чем нам придется говорить дальше, дает нам право выделять Гельвеция из среды его современников, даже наиболее передовых.

Можно не удивляться тому, что его порицал за эти его рассуждения его друг Вольтер; Вольтер порицал и высмеивал всякую вообще зародышевую идею эволюции, появлявшуюся в современной ему науке и философии. Но даже Дидро, человек, сам отнюдь не чуждый эволюционных взглядов, в полной мере Гельвеция не понял.

Дидро конечно стал на сторону Гельвеция против светских и духовных реакционеров, травивших смелого философа. Мы видели, что он назвал книгу «Об уме» ударом по предрассудкам всех родов. Но в рассматриваемом нами частном вопросе он занимает двусмысленную позицию. Он одобряет антирелигиозный вывод, который напрашивается сам собой при чтении этого места. Раз чувствительность присуща материи, то, значит, принципиальной разницы между людьми и животными не имеется. Этот взгляд вполне устраивает философов, а сторонников религии ставит в весьма затруднительное положение. Но на этом согласие Дидро с Гельвецием и кончается. Не критикуя прямо, Дидро предпочитает отделаться своего рода дружеским шаржем. «Дайте человеку длинную морду, — говорит он⁴⁶, — измените ему нос, глаза, зубы и уши, как у собаки, поставьте его на четыре лапы, и этот человек, хотя бы он был доктором Сорбонны, испытав такого рода метаморфозу, будет вести себя совершенно по-собачьи: вместо того, чтобы аргументировать, он будет лаять, вместо того, чтобы разрешать софизмы, он будет грызть кости. Вся главная его деятельность сосредоточится в обонянии, почти вся его душа будет находиться в носу, и вместо того, чтобы вынюхивать атеиста или еретика, он будет гонять по следу кролика или зайца... С другой стороны, возьмите собаку, поставьте ее на задние лапы, закруглите ей голову,

укоротите морду, лишите ее шерсти и хвоста, и вы из нее получите ученого богослова, глубокомысленно рассуждающего о таинствах предопределения и благодати божией».

За этой пародией на Гельвеция нельзя отрицать известного остроумия. Но в то же время очевидно, что к серьезным мыслям Гельвеция Дидро отнесся легкомысленно и просто не понял их.

Атеистическая тенденция, явно присутствовавшая здесь и лишь слегка замаскированная ироническими замечаниями Гельвеция насчет того, что ни писание, ни церковь нигде не утверждают, что животные не обладают душой, а являются настоящими машинами и что следовательно можно не заниматься вопросом, почему бог был так несправедлив в животным, эта атеистическая тенденция возмущала защитников религии даже через сто лет после выхода в свет книги Гельвеция. Один из этих защитников религии, профессор философии и член Института Дамирон, автор ряда ученых «мемуаров» о философии XVIII в., в посвященном Гельвецию мемуаре направил ряд весьма тяжеловесных доводов против сопоставления лошадиного копыта с человеческой рукой⁴⁷. Он серьезно доказывает, что между органами существует неизбежное соотношение, т. е. доказывает вещь, которую Гельвеций считал само собою разумеющуюся.

С другой стороны этот «ученый» критик приводит ряд чисто поповских аргументов, против которых Гельвецию, как материалисту, и спорить не стоило, — аргументы, вроде например следующих: «Чтобы из лошади сделать что-нибудь вроде человека, нужно было бы сначала дать ей душу, а затем вместе с душой и мозг...» или: «Ничто не выходит из чего-либо другого, иначе творение было бы хаосом, а роль творца сводилась бы лишь к приведению этого хаоса в порядок». «Гельвеций, — заключает критик, — делает вид, что не может решить вопрос о том, обладает ли духовностью мыслящая субстанция. Но тем не менее он решает этот вопрос чисто материалистически, во-первых, потому, что сводит все идеи к физической чувствительности, а во-вторых, потому, что, исходя из этого, он признает только чувственные идеи или идеи, зависящие от тела. Можно даже сказать, что в известном смысле Гельвеций больше материалист, чем кто-либо другой. Ибо, отводя большую роль в создании идей органам сношения с внешним миром, например рукам и ногам, он этим самым является более грубым в своей системе, чем те, кто приписывают честь этой высшей функции в первую очередь самому сокровенному, самому

тонкому из наших органов, самой важной части машины, одним словом мозгу. Эти последние по крайней мере более способны, чем он, лучше понять и лучше объяснить механизм и действие орудия мышления».

Желая унизить безбожного мыслителя, боголюбивый защитник с сотворения мира, духовной субстанции и неизменного, предустановленного порядка вещей, сам того не желая, воздает Гельвецию высшую хвалу. Он действительно был более последователен в своем материализме, чем другие его современники, потому что в «высокой функции мышления» видел производное того взаимодействия животного организма с внешней средой, которое по нашим нынешним представлениям является причиной душевных явлений.

Переходя к ближайшему рассмотрению физической чувствительности и памяти, Гельвеций устанавливает, что память, в сущности говоря, есть та же чувствительность, потому что вспоминать значит чувствовать. Наш ум не производит сам из ничего. Впечатления, полученные через органы чувств и сохраняющиеся благодаря памяти, дают нам возможность судить о сходствах и различиях, соответствиях и несоответствиях между различными предметами и между нами и этими предметами. Все слова нашего языка, эта коллекция знаков всех человеческих мыслей, есть или образы (дуб, океан, солнце), или понятия, т. е. различные отношения предметов между собою или нас к ним. Понятия бывают простыми (большое, малое) или сложными (порок, добродетель). Знание этих отношений, т. е. понятия, приобретается благодаря ощущению. Суждение, которое ум выносит в этих случаях, есть просто сравнение и сопоставление их; следовательно здесь опять все сводится к чувствованию.

До сих пор способность суждения отличали от способности чувствования. Это вызывалось тем, что ничем иным не могли объяснить заблуждения ума. На самом же деле все наши ложные суждения и наши заблуждения являются результатом или наших страстей, или нашего неведения, а эти две причины предполагают в нас только способность чувствования. Страсти приковывают все наше внимание лишь к одной стороне того предмета, который они нам рисуют, невежество же не позволяет нам видеть достаточного числа сторон этого предмета и не дает таким образом возможности охватить все отношения этого предмета с другими. Страсти даже скрывают от нас то, что существует в действительности, и показывают то, чего нет.

Надо заметить, что Гельвеций отнюдь не односторонен в своей оценке страстей и роли, которую они играют в нашей жизни. Эти же самые страсти, рассматриваемые как источник бесчисленных заблуждений, служат также и нашему просвещению. Они одни только дают нам силу, нужную для прогресса, они одни лишь могут вырвать нас из объятий лени и инертности, удушающих силы нашей души.

Иллюстрируя как положительную, так и отрицательную стороны значения страстей, этого основного двигателя общественной и личной жизни, Гельвеций не упускает случая сделать вылазки против религии и политического деспотизма. Для характеристики его метода приведем маленькую выдержку.

«Страсти поражают нас самым глубоким ослеплением... Войдем в храм в Мемфисе. Показывая на быка Аписа колено-преклоненной и трепещущей толпе египтян, жрец восклицает: Народы! в этом воплощении признайте божество Египта! Пусть весь мир поклоняется ему! И пусть огонь небесный поразит рассуждающего и сомневающегося нечестивца. Кто бы ты ни был, гордый смертный, ты не боишься богов, если в Аписе видишь только быка и больше веришь тому, что видишь, чем тому, что я говорю тебе! — Таковы конечно были речи, которые держали мемфисские священники, и они должны были убедить себя, что с того момента, как проходит ослепление, кончается и страсть. Да и как было этому не верить? Каждодневно интересы более слабые вызывают в нас подобного рода результаты... Сколько раз слишком сильное доверие к невежественным монахам побуждало христиан отвергать существование антиподов... И безумие прошлого редко излечивало людей от безумия нынешнего дня».

Одной из причин, чрезвычайно содействующих невежеству, является злоупотребление словами. Такие слова, как пространство, дух, материя, самолюбие, свобода, вызывали бесконечные споры вследствие того, что люди, употреблявшие их, вкладывали в них различный смысл. Говоря об этих спорных понятиях, Гельвеций дает нам свое понимание этих терминов, обнаруживая при этом большую проницательность. И, так как здесь именно он затрагивает основные вопросы своей философской системы, мы позволим себе остановиться более подробно на этих страницах его книги.

Как мы увидим в своем месте, когда будем говорить более подробно об атеизме Гельвеция, он приходит к отрицанию бога, исходя из положения, что в мире все явления прекрас-

но могут быть объяснены материей и ее изменениями. Уже одно это дает нам право назвать его материалистом.

Но как он приходит к этому материализму? Как он ставит и решает вопрос о познании человеком природы и самого себя как части этой природы? Откуда берется это знание? Или, употребляя философский термин, какова его гносеология (теория познания)?

Философия у французов в XVIII в. не носила такого развитого и сложного характера, как ныне. Теория познания во французской философии XVIII в. особого места не занимала; вопросы познания ставились только мимоходом всеми мыслителями эпохи и особенно Гельвецием.

Метод Гельвеция очень хорошо выражен в следующих словах: «Философ идет, только опираясь на посох опыта; он движется вперед, но всегда от наблюдений к наблюдениям; он останавливается там, где наблюдения ему недостаточны». «Следует идти вперед только вслед за опытом и никогда не опережать его»⁴⁸. «Нужно иметь мужество не знать того, чего узнать еще невозможно», — говорит он в другом месте. Такая осторожность, если тут можно употребить это слово, роднит его с наукой нашего времени.

Надо заметить при этом, что осторожность эта вызывается не каким-либо «философским» соображением, а единственным стремлением исключить самую возможность, правомерность таких заопытных спекуляций, какими обычно занимается богословская мысль.

Наблюдение совершается через посредство органов чувств. Других источников познания человек не имеет. Это положение было конечно установлено задолго до Гельвеция, мы можем проследить его у философов древней Греции. Философия XVIII в. приняла его от Гоббса и Локка, и оно стало ее исходной точкой.

«Но эта точка зрения, — говорит Ленин⁴⁹, — приводит к различию коренных философских направлений, идеализма и материализма, а не устраниет их различия... И солипсист, т. е. субъективный идеалист, и материалист могут признать источником наших знаний ощущения. И Беркли и Дидро вышли из Локка. Первая посылка теории познания, несомненно, состоит в том, что единственный источник наших знаний — ощущения... Исходя из ощущений, можно идти по линии субъективизма, приводящей к солипсизму... и можно идти по линии объективизма, приводящей к материализму (ощущения суть образы тел внешнего мира). Для первой точки зрения — агностицизма или немного далее: субъективного идеализма.

лизма—объективной истины быть не может. Для второй точки зрения, т. е. материализма, существенно признание объективной истины». И именно к материализму приходит Гельвеций. Вот как он рассуждает далее:

Человек обладает физической чувствительностью, т. е. способностью к чувственным восприятиям, к ощущениям. Она и есть начало всего, что человек собою представляет. «Его познание никогда не выходит за пределы его чувств. Все, что им не подвластно, недоступно его уму».

Человеческая наука сводится к двум родам познаний: «познание отношений, существующих между предметами и человеком, и познание отношений предметов между собой». Оба эти вида познания являются различными видами развития физической чувствительности⁵⁰.

Как выходит познание за пределы ощущений? Признает ли Гельвеций существование вещей вне нас? Для него этот вопрос как серьезный вопрос не существует. Внешний мир, природа нам даны в опыте. Мы сущности вещей этого мира не знаем, но не потому, что они непознаваемы, а потому, что познание их не продвинулось еще так далеко. «Наши чувства могут нас обманывать относительно сущности вещей, но не относительно их отношений», — говорил он еще в молодости, когда записывал свои мысли по поводу прочитанного и продуманного⁵¹. Вообще же сущность вещей для него дело второстепенное. Он занят лишь отношениями. А здесь обмана быть не может. «Чувства нас не обманывают никогда. Предметы всегда производят на нас то впечатление, которое они должны производить». На известном расстоянии квадратная башня кажется круглой. Отсюда следует только, что «действительная форма предметов может быть установлена лишь благодаря однообразному свидетельству многих чувств»⁵². «Действительная форма предметов» — это и есть объективная реальность.

Может ли быть наше познание абсолютным? Нет конечно. Во всем существует известная — большая или меньшая — степень вероятности, относительности. Нельзя следовать за Декартом и признавать только очевидность: «Всякий, кто на самом деле соглашался бы только с очевидностью, был бы уверен лишь в собственном существовании». Каким образом например был бы он уверен в существовании тел вне нас, независимо от нашего познания? Тела могут быть результатом воздействия бога на наши чувства, мир может быть призраком нашего воображения, как сновидения, которые ведь тоже являются ощущениями.

На это у Гельвеция имеется следующий ответ: существование тел вне нас — вероятность, но «в практической жизни эта вероятность равнозначна очевидности»⁵³. Эта апелляция к практике вполне уместна. В другом месте Гельвеций идет еще дальше, еще глубже: «Истинное не всегда очевидно, а вероятное часто бывает истинным», и доказывает это примерами, удивительными по своей убедительности. Человеческая практика, «коллективный опыт» привлекается им здесь с большим умением⁵⁴.

Само собою разумеется, взгляды Гельвеция на отношение между сознанием и бытием далеки от марксистско-ленинского понимания вопроса. «Материя, — говорит Ленин⁵⁵, — есть философская категория для обозначения объективной реальности, которая дана человеку в ощущениях его, которая копируется, фотографируется, отображается нашими ощущениями, существуя независимо от них». И далее: «Вопрос о том, принять или отвергнуть понятие материи, есть вопрос о доверии человека к показаниям его органов чувств, вопрос об источнике нашего познания, вопрос, который ставился и обсуждался с самого начала философии, вопрос, который может быть переряжен на тысячи ладов клоунами-профессионалами, но который не может устареть, как не может устареть вопрос о том, является ли источником человеческого познания зрение и осознание, слух и обоняние. Считать наши ощущения образами внешнего мира — признавать объективную истину — стоять на точке зрения материалистической теории познания — это одно и то же».

Но у Гельвеция еще сильно сказывается влияние Локка, и теория отражения в нашем сознании объективного материального мира оказалась ему недоступной.

Когда Гельвецию приходится затрагивать вопросы о существовании бога, души и т. п., он очень умело оперирует с понятием материи. В этих случаях он рассматривает ее с точки зрения современной ему физики. Материя неразрывно связана с движением, обладает свойствами притяжения и отталкивания. Другое дело, когда он рассматривает понятие материи с точки зрения, как он выразился бы сам, метафизики, или, как сказали бы мы, с точки зрения теории познания, т. е. рассматривает ее как философскую категорию. Здесь он проявляет большую сдержанность.

«Вопрос о том, чувствует материя или не чувствует, — говорит он в том месте своей книги «Об уме», на котором мы остановились⁵⁶, — обсуждался во все времена, и по нему высказывались то так, то этак. Спорили об этом очень долго

и очень путанно. И лишь очень поздно догадались спросить себя, о чем собственно идет спор, и связать со словом материя точное понятие. Если бы с самого начала установили значение этого слова, то увидели бы, что люди были, если можно так выразиться, творцами материин, что материя вовсе не реальность, что в природе существуют лишь индивидуумы, которым дали общее имя тел, и что под словом материя можно понимать лишь совокупность свойств, общих для всех тел. И, поскольку значение этого слова установлено таким образом, вопрос уже может ити только о том, являются ли протяжение, твердость, непроницаемость единственными свойствами, общими для всех тел, и не может ли открытие какой-нибудь силы, подобной например притяжению, привести к предположению, что тела обладают еще некоторыми неизвестными свойствами вроде способности ощущения, которая, проявляясь лишь в организованных телах животных, может однако быть общей для всех индивидуумов. И если бы вопрос был поставлен в этой плоскости, то люди поняли бы, что если, строго говоря, невозможно доказать, что все тела абсолютно нечувствительны, то всякий человек, который не просвещен в этом отношении божественным откровением, может решить этот вопрос лишь вычислением и сравнением вероятности этого мнения с вероятностью мнения противоположного».

Таким образом материя — это совокупность свойств, которыми обладают тела⁵⁷. Приведя эту цитату, Плеханов отмечает, что скептицизм Гельвеция здесь — не более, как оружие, направленное против противников материализма⁵⁸. Но вряд ли есть надобность в такого рода защите Гельвеция. То, что Плеханов называет скептицизмом, есть в сущности совершенно правильная критика понятий, критика тем более необходимая, что эти понятия принадлежат к числу тех, которые больше всего использовывались идеалистическими системами для укрепления религиозных верований. Освобождая понятие материи от наслонившихся на неё метафизических оболочек, Гельвеций расчищал дорогу для здоровых атеистических и подлинно материалистических выводов. Мы напомним нашему читателю, что ведь и Фр. Энгельс видел себя вынужденным в борьбе с метафизикой и идеализмом ити тем же «скептическим» путем. В примечаниях к «Анти-Дюрингу»⁵⁹ мы читаем: «Материя как таковая — это чистое создание мысли и абстракции. Подводя вещи, рассматриваемые нами как телесно существующие, под понятие материи, мы отвлекаемся от всех качественных различий в них. По-

этому материя как таковая в отличие от определенных существующих материй не является чем-то чувственно существующим. Естествознание, стремящееся отыскать единую материю как таковую, стремящееся свести качественные различия к чисто количественным различиям состава тождественных мельчайших частиц, поступает так, как оно поступало бы, если бы вместо вишен, груш, яблок оно искало плод как таковой, вместо кошек, собак, овец и т. д. искало млекопитающее как таковое, газ как таковой, металл как таковой, камень как таковой, химическое соединение как таковое, движение как таковое... Как доказал уже Гегель («Энциклопедия», I, 199), это воззрение, эта «односторонняя метафизическая точка зрения», согласно которой материя определима только количественным образом, а качественно исконно одинакова, является «именно точкой зрения» французского материализма XVIII в.»

Мы видим, что и в лоне метафизического, или — что тоже — механического, французского материализма имелось блестящее исключение в лице Гельвеция, сумевшего в этом вопросе, как и в ряде других, возвыситься до подлинно научного объяснения. Нужно здесь же отметить, что в данном случае оригинальность Гельвеция не так уже велика, как на первый взгляд может показаться. Очень вероятно, что он только развивает дальше мысль Гоббса, что материя отнюдь не особое тело, а только название, обозначающее общие свойства тел. По высказанному Плехановым предположению, он прымкал в этих вопросах также к английскому материалисту Толанду.

Правда, отвергая механистическое понятие о «первоматерии», Гельвеций не сумел стать на позицию диалектико-материалистического понятия материи, и получается поэтому впечатление, что он опровергает метафизику оружием скептицизма.

Но по существу Гельвеций вовсе не скептически относится к материи, он не подвергает сомнению существование в природе тел, условно называемых материей. Напротив, он утверждает это их существование, апеллируя именно к непосредственному опыту, к практике. К свойствам этих тел он относит и чувствительность, из которой развивается то, что мы называем духом, умом, мышлением. Но он и здесь чужд всякому догматизму. Он признает только вероятность того, что способность чувствовать присуща материи. Но вероятность эта так велика, что практически она ограничивается достоверностью.

Здесь уместно привести высказывание Ленина, дающее нам прекрасный ключ к оценке материализма Гельвеция: «Точка зрения жизни, практики должна быть первой и основной точкой зрения теории познания. И она приводит неизбежно к материализму, отбрасывая с порога бесконечные измышления профессорской холастики. Конечно, при этом не надо забывать, что критерий практики никогда не может по самой сути дела подтвердить или опровергнуть полностью какого бы то ни было человеческого представления. Этот критерий тоже настолько «неопределенен», чтобы не позволять знаниям человека превратиться в «абсолют», и в то же время настолько определенен, чтобы вести беспощадную борьбу со всеми разновидностями идеализма и агностицизма. Если то, что подтверждает наша практика, есть единственная, последняя, объективная истина, — то отсюда вытекает признание единственным путем к этой истине пути науки, стоящей на материалистической точке зрения».

Вопрос о чувствительности как свойстве материи широко дебатировался среди философов XVIII в. Он и до нашего времени не потерял своей остроты. Вопрос о чувствительности ведь, собственно, есть вопрос о жизни, об одухотворенности. Современный материализм, как и материализм французских просветителей, отвергает всякую гипотезу о возможности независимого, самостоятельного существования какого бы то ни было жизненного или чувствующего начала. Философски этот вопрос трактуется как вопрос об отношении мышления к бытию.

Основной вопрос философии об отношении мышления к бытию у Гельвеция разрешается следующим образом. Одним из свойств материи (будем только помнить, как он понимает ее) является чувствительность, способность к ощущениям. Эта физическая чувствительность и является в телах познающим элементом. Никакого разрыва между миром духовным и миром физическим у него нет, потому что первый является частью второго. Душа — это и есть способность к ощущениям; ум, разум, вся вообще психическая жизнь есть «действие души, или способности ощущения». Способность ощущения Гельвеций отожествляет также с «жизненным началом».

Таким образом все тела обладают чувствительностью, она — свойство материи.

Гельвеций ссылается на «знаменитого английского химика» (что это за химик, неизвестно), который приписывает материи, помимо неизменных свойств — непроницаемость, тя-

жесть и т. д., — свойства изменчивые и мимолетные, зависящие от строения вещества и присущие его временным комбинациям. Например свойство притяжения железа магнитом. Когда железо разлагается, это свойство утрачивается. «Почему же, — спрашивает Гельвеций, — организация не может вызвать в животном царстве того необыкновенного качества, которое называется способностью ощущения? Все факты медицины и естествознания с очевидностью доказывают, что эта сила является лишь результатом строения тел животных, что она возникает вместе с образованием их органов, сохраняется, пока они существуют, и наконец исчезает вместе с их распадением. Если метафизики спросят меня, что же после смерти делается с этой способностью ощущения в животных, я им отвечу: то же, что делается в разложившемся железе со способностью притягиваться магнитом»⁶⁰.

Этот вопрос — об отношении духа и материи — интересовал Гельвеция с его первых шагов на поприще философии. В черновой тетради он уже ставит его. «Душа следует за развитием тела, — говорит он там⁶¹, — в детстве и в юности она слабее, подобно телу. Вполне возможно, что она — материя». Можно предположить, что это записано под впечатлением чтения произведений Ламеттри. Там мы не раз встретим эту же мысль и почти те же слова. Например: «Душа следует за развитием тела, как и за развитием воспитания»⁶². И кстати скажем: мысль о влиянии Ламеттри напрашивается не раз и при чтении посмертного произведения Гельвеция «О человеке». Мы встречаем здесь даже пресловутое сравнение человека с машиной: «Человек — это машина, которая, будучи приведена в движение физическою чувствительностью, должна делать все то, что она выполняет. Это — колесо, движимое потоком...»⁶³.

Такой же критике, как понятие материи, Гельвеций подвергает понятия пространства и бесконечности. Пространство, говорит он, если рассматривать его отвлеченно, есть полное ничто, его не существует. Мы его знаем лишь в телях. Так же не существует и бесконечности: отсутствие границ, пределов — вот единственное понятие, которое можно связать с бесконечностью. «Это лжефилософия минувших веков обязана мы главным образом нашим грубым невежеством в отношении истинного значения слов: эта философия почти целиком сводилась к искусству злоупотребления словами. А это искусство, образовывавшее всю науку холастиков, приводило в смешение все понятия. И та неясность,

которую оно вносило во все выражения, распространялась вообще на все науки и главным образом на мораль».

Особенно подробно останавливается Гельвеций на критике понятия свободы воли. Слово свобода, говорит он, взятое в его житейском смысле, вызывает у нас совершенно определенное понятие. Но, когда это слово применяют к человеческому волению, получается нечто совершенно иное. «Что такое свобода в этом случае? Под этим словом можно только понимать свободную возможность хотеть или не хотеть чего-либо. Но в таком случае эта возможность предполагает, что могут существовать хотения без побуждений и следовательно действия без причины». Мы не можем одновременно желать для себя добра и зла. «Если в основе всех наших мыслей и поступков лежит удовольствие, если все люди непрерывно стремятся к действительному или воображаемому счастью, то все наши хотения являются лишь следствием этого стремления. Всякое же следствие необходимо». В этом случае о свободе воли говорить невозможно. Но не свободны ли мы в выборе тех средств, при помощи которых осуществляем это свое стремление к счастью? Нет, отвечает Гельвеций. Потому что, поскольку мы этот выбор производим, мы находимся под влиянием наших интересов, вкусов, страстей, всего, чем определяется наше представление о том, в чем состоит наше счастье. «Таким образом в применении к акту воли со словом свобода нельзя связать никакого определенного представления. Ее нужно рассматривать как великую тайну, воскликнать вместе со святым Павлом: «О altitudo!» признать, что только богословие может рассуждать на подобную тему, а философский трактат о свободе воли неизбежно оказался бы рассуждением о действиях без причины»⁶⁴.

В своих книгах Гельвеций неоднократно останавливается на вопросе о свободе воли, чтобы всякий раз противопоставить материалистическое отрицание богословскому признанию. Он защищает принцип детерминизма, обусловленности наших поступков, со всем красноречием, на какое только способен. И не даром такие критики его, как Барни и Дамирон, с особым негодованием напирают на «фатализм Гельвеция». Этот «фатализм» не оставляет места божественному произволу. Да и только ли христианские философы отшатывались от этой теории? Мы видели, что когда проблема свободы воли впервые в ранней молодости под влиянием чтения Локка заинтересовала Гельвеция, его друг и учитель Вольтер прилагал большие, но тщетные усилия, чтобы от-

вратить его от этой «жестокой» истины во имя «блага общества».

Для Гельвеция вопрос о свободе воли не стоял изолированно, как только психологическая проблема. Уже в своих «заметках» он смелой рукой намечал положение, что «законы и нравы народов зависят от физических причин», и тут же на полях прибавлял: «а отсюда можно доказать фатализм»⁶⁶. Другими словами, он видел с полной ясностью, что существует всеобщая материальная обусловленность как в мире природы, так и в сферах социальной и психологической.

Слово «фатализм» мы теперь понимаем более ограниченно, чем люди XVIII в. В нашем смысле теорию Гельвеция фатализмом назвать нельзя. Человек известной свободой выбора, по его мнению, располагает, и, чем более он просвещен и образован, тем эта свобода больше. Но в данном случае самое слово *свобода* является синонимом слова *просвещение*.

Гельвеций очень близко подходил к тому пониманию свободы, которое принимаем мы и которое можно кратко формулировать следующими словами Энгельса в «Анти-Дюринге»: «Свобода состоит в господстве над самим собой и над внешней природой, основанном на познании естественной необходимости; значит, она является необходимым продуктом исторического развития»⁶⁶.

Свою критику основных философских понятий он заканчивает словами: «Мы видим, какой вечный зародыш распрай и бедствий таится часто в незнании истинного значения слов. Не говоря уж о крови, пролитой богословской ненавистью и спорами, спорами, почти всегда основанными на злоупотреблении словами, сколько других еще несчастий вызвано этим невежеством, и в какие только заблуждения не повергало оно народы?»

Подводя итоги всему сказанному им в первой части своей книги, Гельвеций считает, что он доказал истину: «Заблуждение отнюдь не присуще природе человеческого ума. Наши ложные суждения являются следовательно действием случайных причин, которые вовсе не предполагают в нас способности суждения, отличающейся от способности чувствования... А отсюда следует, что все люди обладают умом, в основе своей правильным».

2. Теория нравственности

Во второй части (рассуждении) Гельвеций рассматривает «Ум по отношению к обществу».

Определение ума как собрания каких-либо понятий нे-
удовлетворительно. Нужно такое определение, которое поз-
воляло бы сравнивать отдельные умы между собой. Каждый
отдельный человек выносит свою оценку на основании своего
личного интереса, и то же самое делает общество.

Слово интерес употребляется в широком смысле. Интерес — это мерило, единственный способ определить цен-
ность каждой идеи и в то же время единственный способ от-
крыть наконец причину удивительного разнообразия в мне-
ниях людей относительно ума. Это разнообразие зависит от
различия в страстиах, взглядах, предрассудках, чувствах, т. е.
в конечном счете от разнообразия в интересах. Только у
отдельных людей этот интерес ограничен, а у обществ он
является более широким и общим. В качестве примерного
понятия Гельвеций выбирает честность и рассматривает
честность и ум с различных точек зрения и примени-
тельно к отдельному человеку, к группе людей, к народу, к
различным векам и странам и наконец ко всему миру. При
всех этих точках зрения, утверждает он, интерес является
единственным судьей в вопросах честности и ума.

Каждый отдельный человек называет честностью в другом
лишь его привычку к таким поступкам, которые для первого
полезны, — привычку именно потому, что добродетельными
поступками или умными идеями мы называем не отдельные,
из ряда выходящие поступки или случайные мысли. Тут, в
вопросе о добродетели, необходимо остановиться именно на
поступках, а не на намерениях, потому что намерения много-
образны и при оценке поступка очень трудно решить, какое
намерение лежало в его основе. Затем нужно признать, что
добродетель бесконечно зависит от обстоятельств, в кото-
рых люди находятся. Мы слишком часто видим, что
добродетельные люди поддаются стечению роковых об-
стоятельств. Обманщиком или дураком будет тот, кто буд-
дет утверждать, что его добродетель устоит во всех возмож-
ных обстоятельствах. Огромное большинство людей никогда
не устремляет своих взоров к общему благу, и естественно,
что честными они называют лишь поступки, которые им лично
полезны. Нет такого преступления, которое не было бы от-
несено к разряду почетных деяний группами, для которых
это преступление полезно, и нет такого общественно полез-
ного поступка, который не порицался бы теми, кому он по-
вредил. «Если мир физический подвержен законам движения,
то мир нравственный не в меньшей степени подчинен зако-
нам интереса. Интерес на земле — могущественный волшеб-

ник, который в глазах всех творений изменяет форму всех предметов». В области идей, как и в области поступков, применим тот же принцип: каждый называет в другом ум ом лишь те обычные в этом другом идеи, которые ему полезны, т. е. либо поучительны, либо приятны. У глупца и друзья так же глупы, как он, потому что в других мы всегда ценим лишь самих себя. На эту тему Гельвеций исписывает страницу за страницей, рассыпая яркие и меткие примеры из общественной жизни, выявляя себя на редкость блестящим публицистом и проницательным психологом.

Для всякого «маленького общества», или, как мы говорим теперь, для всякого коллектива, честность есть большая или меньшая привычка к полезным для этого коллектива действиям. Добро невозможно любить ради самого добра, а зло — ради самого зла. Тем моралистам, которые непрерывно мечут гром и молнии против людской испорченности, Гельвеций отвечает: «Люди вовсе не злы, а подчинены своим интересам. Крики моралистов вовсе не изменят этого нравственного миропорядка. Нужно жаловаться не на испорченность людей, но на невежество законодателей, у которых всегда частный интерес преобладает над общим».

Отметив правильно «основной закон нравственного миропорядка», Гельвеций не мог выйти за пределы этого миропорядка, не сумел связать его с миропорядком общественных отношений. Он понял, что в деле излечения социальных язв нужно бороться не с «испорченностью» людей. Но на место «испорченности» он подставлял «невежество» законодателей. И хотя он знал, что законы защищают интересы сильных, но не умел и не мог понять классовый характер всякого законодательства. Он поднялся до порога этого понимания. Нужно было сделать еще один шаг. Для этого нужно было бы, чтобы вместо метафизического в общем и целом материализма у Гельвеция и его единомышленников был материализм диалектический. Но этому мешала классовая ограниченность французских философов.

Дух кружка, семьи истребляет в душах граждан всякую любовь к общему благу, к родине. Как избежать этого? Нужно руководиться общим интересом. Тут мало благородства души, нужна еще и просвещенность. Тот, в ком это сочетается, всегда руководится компасом общественной пользы. Эта польза всегда есть принцип человеческих добродетелей и основание всякого законодательства. Этому принципу должно подчинять и приносить в жертву все наши чувства, даже самое чувство человечности.

Это уже язык революционера, одного из отцов Великой революции. В непосредственной связи с этим выводом находится следующее место, вызывавшее ярость всех реакционеров, как «оправдывающее самые кровавые преступления революции»: «Когда корабль настигнут долгим штилем и голод своим повелительным голосом присуждает жребию решить, кто будет несчастной жертвой, долженствующей послужить пищей для остальных, его убивают без угрызения совести. Этот корабль есть эмблема всякого народа: все становится законным и даже добродетельным для общего блага».

В каждом обществе личный интерес является единственным критерием для оценки вещей и людей. Изменяясь в зависимости от наличия наших потребностей, страстей, условий, ума, сочетаясь в бесконечно разнообразных комбинациях в различных обществах, он вызывает наблюдающееся удивительное разнообразие во мнениях.

Что такое добродетель? Одни утверждают, что наше понятие о добродетели абсолютно и не зависит ни от века, ни от образа правления, при котором мы живем. По мнению других, это понятие изменяется в зависимости от обстоятельства места и времени и следовательно оно произвольно. Заблуждаются и те и другие. Эти философы недостаточно изучали всемирную историю. Иначе они увидели бы, что время вносит неизбежно огромные изменения как в мире физическом, так и в мире нравственном. Изменяются государства, меняются интересы народа, и одни и те же поступки могут казаться в зависимости от обстоятельств полезными и вредными, т. е. добродетельными или порочными. Под словом добродетель на самом деле можно понимать лишь желание всеобщего счастья; цель ее — общественное благо.

Конечно Гельвеций отождествляет понятие общественной пользы с интересами борющегося против феодализма класса буржуазии, но это не умаляет прогрессивности взглядов Гельвеция, к которым мы должны подойти с исторической меркой.

Понятие пользы, по Гельвецию, всегда скрыто сочеталось с понятием добродетели. Самые странные, самые жестокие обычаи имеют своим источником действительную или кажущуюся пользу общества.

И Гельвеций нагромождает большое число примеров, показывая, как одни и те же законы и нравы бывают то вредными, то полезными. Его ядовитое жало публициста при этом все время направлено на врагов разума и прогресса.

Что же это за польза, лежащая в основе надстройки из

законов, нравов, обычаев? Проницательный взор философа правильно обнаружил ее: это — польза экономическая. Дикари убивают слабых стариков в то время года, когда оскудевают припасы и нужно выходить на охоту, где лишние рты только стесняют племя. Это — экономическая необходимость. В Китае право жизни и смерти над детьми даруется родителям вследствие несоответствия между площадью плодородной земли и населением. У некоторых народов Африки на почве желания уменьшить прирост населения почитают пустынников, избегающих сношений с женщинами, но позволяющих себе иметь сношения с животными. В основе всех этих странных и жестоких обычаев лежит общественная польза.

Истинная добродетель — это та, которая ставит себе целью общественное благо. В этом смысле она неизменна, но диктуемые ею поступки разнообразны и часто противоречивы, потому что тысячи обстоятельств могут изменить общественный интерес.

В отличие от истинной добродетели добродетель предрассудка — религиозная добродетель преимущественно — зависит от интересов групповых. Эти ложные добродетели почитаются у большинства народов гораздо больше, чем истинные. Следует ряд примеров из религиозных обычаяй разных народов. При этом разбирается также религиозная и политическая испорченность. «В вопросе нравов название религиозной испорченности дается всякому виду разврата, но главным образом разврату мужчин с женщинами. Этот вид испорченности не является однако несовместимым со счастьем нации. Некоторые народы полагали, да и сейчас еще полагают, что этот вид испорченности не содержит в себе ничего преступного. Он преступен, без сомнения, во Франции, потому что оскорбляет законы страны, но он был бы менее преступен, если бы женщины были общими, а дети объявлялись бы детьми государства; тогда политически это преступление не имело бы в себе ничего опасного». Ведь у многих народов то, что мы называем развратом, не только не считается испорченностью нравов, но устанавливается законами и даже освящается религией.

Конечно Гельвеций не проповедует здесь общности жен, как его обвиняли. Но мысль его действительно смела, и не только для того времени. Он разрывает здесь тот социальный фетишизм, согласно которому неприкосновенность закона или освященного обычая возводится в нерушимую догму человеческого поведения. От этого удара колеблются устои

не только феодального общества, по которому он был, но и нарождавшегося буржуазного общества. Это поняли его врачи, обвиняя его в коммунизме, хотя эти обвинения были явно несостоятельны.

Другая испорченность нравов — политическая — овладевает народом тогда, когда подавляющее большинство отдельных граждан отделяет свой личный интерес от общественного. Здесь удары направлены и против духовенства. В интересах священников держать народ в темноте, тогда как общественный интерес требует просвещения. Монахи, запрещавшие «Дух законов», поступали как скифы, выкальзывавшие своим рабам глаза, чтобы их внимание не отвлекалось во время работы. Духовенство имело все основания и в отношении книги Гельвеция поступать с такой же скифской предусмотрительностью.

Правила морали не представляют ничего абсолютного и непреложного. Если до сих пор мораль была совершенно бесплодна и даже вредна для человечества, то лишь оттого, что моралисты не рассматривали пороки как неизбежное последствие той формы правления, при которой они развились. Бороться с пороками нужно путем изменения законодательства, и реформу нравов нужно начать с реформы законов. Нельзя изменить последствий, оставляя в неприкосновенности причины.

С тем же бесстрашием, так же без оглядки на традиции подходит Гельвеций и к другим смежным вопросам и заключает: с людьми нужно говорить языком интереса, и добродетельными их можно сделать лишь объединяя личный интерес с общим.

Так же, как в области поступков, обстоит дело в области идей: они могут быть полезными или вредными в зависимости от изменений в интересах.

Почему наука о нравах, мораль, отставала от других наук и была в загоне? В этом вина моралистов, не умевших показать правильный путь людям. Гельвеций показывает этот путь: определение способа распределения наград и наказаний и выяснение того, как их использовать, чтобы связать личный интерес с общественным. «Если бы граждане не могли достигнуть личного благополучия, не содействуя тем самым благу общему, тогда только сумасшедшие были бы преступными, и все люди были бы добродетельными».

Гельвеций вероятно сам чувствовал, как слаба его аргументация с положительной стороны. Поэтому он постоянно переходит к критике. В этом его действительная сила.

Развитие морали тормозится сильными мира сего, потому что оно не в их интересах. «Все эти бичи человечества, все эти злодеи разного рода, вынужденные своим личным интересом вводить противоречащие общему благу законы, понимали, что все их могущество основано на человеческом невежестве и глупости, и оттого они принуждали к молчанию всякого, кто, открывая народам истинные принципы морали, открыл бы им тем самым все их несчастья и все их права и вооружил бы их против несправедливости». Гельвеций осторожен. Он знает, какие скорпионы ждут всякого восстающего против власти этих «бичей человечества» и «злодеев», но, несмотря на все предосторожности, его революционная мысль вырывается в ярких темпераментных вспышках. Этих страниц нельзя читать без удовольствия. «Надо сорвать с них маску, — говорит он, — надо показать в этих покровителях невежества жесточайших врагов человечества»; «надо исцелить людей от их заблуждения»; надо доказать, что противиться этому, значит совершать преступление оскорблении человечества. С другой стороны нужно открыть людям истинные принципы, показать им, что в мире нравственном все движется благодаря страданию и удовольствию, что себялюбие есть база практической морали. Ибо на чем же ином можно основывать эту науку? На ложных и нелепых религиях? Очевидно нет. На христианской религии? Тоже нет, потому что она далеко не всеобщая. А кроме того побуждений личного интереса, которыми не так легко злоупотреблять, как религиозными принципами, достаточно, чтобы побудить людей к добродетели. «Разве итальянец, более богомольный, чем француз, не чаще пользуется ядом и стилетом, держа в руках четки?» — ехидно спрашивает Гельвеций.

Чтобы составить хорошие законы, говорит он, нужно знать человеческое сердце, а еще раньше нужно знать, что люди всегда чутки к собственным нуждам и безразличны к нуждам других, и не рождаются они ни добрыми, ни злыми, но готовыми стать теми или другими в зависимости от того, объединяет их или разъединяет общий интерес. Нужно знать, что чувство предпочтения, испытываемое каждым по отношению к себе, чувство, с которым связано сохранение вида, запечатлено в нас природою неизгладимым образом.

Так Гельвеций намечает путь к избавлению человечества. Если же светская и духовная власть станет на этом пути и загородит дорогу, у нее нужно вырвать скипетр. Это очень трудно выполнить конечно, но есть же люди, которые понимают, что благо и самая жизнь отдельного человека — это

только залог, который он должен отдать, когда этого требует общее благо.

Это очень смело конечно, но Гельвеций тут же пугается своей смелости, роняет несколько пессимистических слов и главную свою надежду возлагает на время, на незаметный, но верный прогресс морали и законодательства.

Существует ли универсальная добродетель, являющаяся привычкой к поступкам, полезным для всех народов? Практически не существует,—отвечает Гельвеций.—Противоположность интересов держит народы в состоянии войны. Страсть патриотизма абсолютно исключает всемирное братство. Осуществления его нужно ждать очень долго. Однако, «вооружившись терпением аббата Сен-Пьера, можно вслед за ним предсказать, что осуществится все, что только можно себе представить», — утешает он.

Если универсальной добродетели пока что не может быть, то в области идей дело обстоит иначе. Универсальный ум — это привычка к идеям, интересным для всех народов. Этот вид ума бесспорно самый желанный.

Третью часть своей книги Гельвеций озаглавливает вопросом: «Должен ли ум рассматриваться как дар природы или как результат воспитания?»

Люди не рождаются глупыми или умными (за исключением конечно патологических явлений), а становятся теми или другими в зависимости от воспитания, т. е. от окружающей их среды.

Это — основное положение Гельвеция, вызвавшее критику со всех сторон,—и со стороны друзей (Дидро) и со стороны бесчисленного множества врагов. Он повидимому умышленно обходит явления наследственности с целью оттенить свою по существу правильную мысль о всемогуществе «воспитания», под которым понимает все вообще влияния среды.

Учителями каждого человека являются и образ правления, и люди, которыми он окружен, и книги, которые он читает, и наконец случай, т. е. бесконечный ряд причин, которых мы вследствие своей ограниченности не можем учесть. Опыт нас учит, что в мире духовном, как и в физическом, величайшие события часто бывают результатом почти неуловимых причин. Люди похожи на деревья одного и того же вида, выросшие из одинаковых семян, которые, развиваясь в зависимости от их ближайшей обстановки, неизбежно принимают самые разнообразные формы. У нормально организованных людей обширность и правильность ума не зависит

от совершенства органов чувств. Мы не наблюдаем, чтобы люди, обладающие острым зрением и слухом, постоянно отличались умственным превосходством. Память и внимание у нормальных людей совершенно достаточны, чтобы подняться до высочайших идей.

Причины духовного неравенства людей лежат не здесь. Страсти, неравенство в них — вот источники умственного неравенства. Страсти — вот главный двигатель человеческого общества. «В области морали они — то же, что движение в физике: оно творит, уничтожает, сохраняет, одушевляет все, и без него все мертвое. И страсти так же оживляют нравственный мир». Страсти могущественно потрясают нашу душу, открывают нам возможность совершения необычайных вещей, возбуждают в нас мучущее вдохновение. Только великие страсти порождают великих людей.

Гельвеций — пламенный апологет (защитник) животворящей страсти и гневный враг посредственности, умеренности и покоя. Уравновешенные люди здравого смысла созданы, чтобы ходить по избитым дорожкам, в них преобладает лень, и не им сеять в настоящем семена будущего. Только перед воодушевленными страстью людьми открывается книга грядущего.

Откуда взялись страсти? Мы родимся на свет с потребностями, удовлетворение которых нам дает удовольствие, а неудовлетворение — страдание. В этих потребностях, в наших первых желаниях должно искать зародышей страстей, возникших в общественной среде. Когда общество достигает известной степени развития и в нем появляется деление на высших и низших, понятия добра и зла, отличавшие раньше физическое удовольствие или страдание, распространяются вообще на все, что эти ощущения вызывает или же их усиливает и ослабляет. Богатство и бедность получают тогда свою оценку. Люди начинают стремиться к почестям, к богатству, т. е. к тем преимуществам, которые с ними связаны. И в зависимости от формы государственного устройства рождаются все страсти. Даже любовь, которая в природе дана нам лишь как потребность,—смешавшись с тщеславием, становится страстью искусственной, или, что то же, общественной. Далее следует анализ каждой страсти в отдельности, в котором Гельвеций, «прослеживая метаморфозу (превращение) физических страданий и удовольствий в страдания и удовольствия искусственные, показывает, что в таких страстиах, как склонность, тщеславие, гордость и дружба, предмет которых, казалось бы, меньше всего принадлежит к чувствен-

ным удовольствиям, мы все-таки избегаем физического стра-
дания или стремимся к физическому удовольствию».

Для него нет ничего святого. Дружба — даже чистая, бескорыстная дружба — разбирается по косточкам и сводится к самым элементарным потребностям человеческой природы. «Дружить — это иметь потребность. Без потребности не существует никакой дружбы: это было бы действие без причины... Потребность — мерило чувств». Самое чувство дружбы существует в зависимости от места и времени. Бывали времена, когда сильная дружба была потребностью, обусловливала общественной средой. В наше время она бесполезна. При нынешней форме нашего правления, с полной откровенностью говорит Гельвеций, человеку нужны не столько друзья, сколько покровители. Но и в одном и том же обществе, в зависимости от положения человека в нем, дружба может быть действительным чувством, диктуемым солидарностью интересов. «Несчастные вообще бывают самыми нежными друзьями; объединенные общностью несчастья, они, сожалея своего несчастного друга, наслаждаются удовольствием растрогаться насчет самих себя». Дружба, как и все страсти, сводится к физической чувствительности.

Все анализы страстей представляют собой у Гельвеция резкую сатиру. Пороки современного ему общества вскрываются твердой рукой и острым ножом хирурга, пламенно верующего в возможность этим способом излечить больного.

Так как любовь к удовольствию есть единственная узда, с помощью которой можно страсти отдельных людей направлять к общему благу, то в плохом законодательстве нужно искать причины всех пороков. Среди богачей мы редко встречаем воров и убийц, потому что польза от преступления не пропорциональна той каре, которой они подвергнутся, если преступление раскроется. Для бедняка эта непропорциональность гораздо меньше.

Доказав ранее, что все люди способны испытывать страсти в степени, более чем достаточной для высокого умственного развития, Гельвеций делает затем вывод, что «большое неравенство в уме, наблюдающееся среди людей, зависит единственно от различного воспитания, которое они получают, и от неизвестного сцепления различных обстоятельств, среди которых они находятся». Явления нравственного порядка надо объяснять общественной средой. Гельвеций, остановившись на этом, отмечает влияние города, столицы, Парижа. Физиологические же условия существования играют совершенно подчиненную роль. Это доказывает опыт и история.

Искусство, науки, добродетели переселялись из одного климата в другой в зависимости от изменения государственного устройства той или иной страны.

Практическая цель Гельвеция — усовершенствование воспитания. Все искусство воспитания состоит в том, чтобы дать воспитываемым стечьне таких обстоятельств, среди которых разовются в них зародыши ума и добродетели. «К этому заключению меня привела не любовь к парадоксам, а единственно желание счастья людям. Я понял и то, сколько знаний, добродетелей и следовательно счастья для общества принесет хорошее воспитание и насколько распространенное убеждение, что гений и добродетель — чистые дары природы, противоречит прогрессу науки и воспитания».

У Гельвеция своя теория гениальности, и преимущественно изложению этой теории он посвящает четвертую часть книги, озаглавленную: «О различных названиях, даваемых уму». Попутно он говорит и о воспитании. Но, поскольку его теория воспитания более подробно изложена в книге «О человеке», мы изложим его педагогические взгляды, когда будем говорить о его второй книге.

Гении не рождаются, а воспитываются средой. И для их проявления нужна соответствующая обстановка. Тот, кто создает революцию в науке или искусстве, получает название гениального человека скорее, чем те, которые только приблизили эту науку или искусство к порогу революции, хотя бы они проявили больше изобретательности, чем первые. Таким образом случай, т. е. сцепление действий, причины которых нам неизвестны, играет огромную роль: он определяет момент, когда должны родиться именно те великие люди, которые должны создать эпоху и получить название гения. Этим рассуждением гений низводится с олимпийских высот. В деле репутации государственных людей роль случая еще больше. Примеры — Магомет и Цезарь. Как не признать в таких ничтожных людях дело случая, поместившего их в такое время и в такую обстановку, когда они смогли выдвинуться? Кроме случая, понятно, нужна и страсть — честолюбие.

Дальше перед нами длинной вереницей проходят люди чувства, воображения, ума, таланта, люди со вкусом и т. д. Литература и искусство рассматриваются Гельвецием с глубокой вдумчивостью, и он высказывает взгляды, поразительные и неожиданные для того времени. «Его эстетика содержит очень замечательные анализы и глубокие взгляды», — говорит его биограф и не беспристрастный критик А. Кейм.

Если ни одна из язв общества не осталась скрытой от его проницательного взора, если каждая нашла резкую оценку, то с другой стороны он полон оптимистической веры в прогресс. Перед человечеством большая работа. Так бесконечно много новых идей предстоит еще открыть. Электричество представляет нам каждый день все новые явления. Мораль и политика скрывают в себе бесчисленные проблемы.

Он видит деление общества на классы, «которые все имеют различные глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать». Нужно, чтобы идеи морали и политики спустились в самые низы народа. Только когда это происходит, идеи становятся достаточно общими, чтобы стать полезными.

Великолепна та атака, которую ведет Гельвеций против здравого смысла, против обывательской посредственности, против проповеди умеренности и благородства.

Человек здравого смысла конечно не совершает тех ошибок, которые случаются с людьми, увлекаемыми страстями, но зато он и не испытывает тех «озарений, какими люди обязаны ярким страстям». Здравый смысл — тусклая обыденщина. Если он полезен кому-нибудь, то лишь лично своему носителю; добывшие им преимущества на человечество не распространяются. Скажут, что благородство, идущее по стопам здравого смысла, это — добротель, которой хотел бы украсить себя всякий народ. Нет, — решительно отвечает Гельвеций, — из всех даров неба самый гибельный — благородство. Предположим, что благородство снизойдет на все головы, образующие нацию. Где вы найдете тогда людей, которые за гроши в сражениях будут глядеть в лицо смерти? Какая женщина предстанет перед алтарем Гимена, подвергнется болезням беременности, опасностям родов? Какой религиозный человек не пренебрежет мимолетными удовольствиями здешней жизни, не предпочтет дальму девственности миртам любви и не закопает себя в каком-нибудь монастыре? Мудрость, приписываемая здравому смыслу, — бездействие, его кажущаяся непогрешимость — апатия. «Если почти о всех дураках говорят, что они люди со здравым смыслом, то с дураками в этом отношении дело обстоит так, как с некрасивыми девушками, которых хвалят за их доброту».

3. Антирелигиозная тенденция книги.

Из этого краткого изложения огромной книги Гельвеция наш читатель видит, что религия вообще, а католическая религия в особенностях, имела все основания преследовать

смелого автора. Это—книга откровенно материалистическая прежде всего.

Атеизм ее автора, при всем старании его показать внешнюю преданность «истинной» вере и покорность «святой» церкви, бьет в глаза на каждой почти странице. Понятно, что его маскарад никого не мог обмануть, и меньше всего он мог обмануть изощренное чутье мастеров розыска и доноса.

В «Журнале Треву» — органе иезуитов, поведшем ожесточенную травлю Гельвеция, он «разоблачается» следующим образом⁶⁷: «Автор воображает, что он устраивает все упреки, какие можно сделать ему насчет религии, если заявляет, что говорит везде как философ, а не как богослов. Он это повторяет несколько раз и делает вид, что с почтением относится к христианству. Но такого рода разговоры — только предосторожность, которую часто применяют неверующие. Это покрывало поднять не составляет трудности, и тогда мысль автора становится совершенно ясной».

В органе янсенистов, противников иезуитов, но их союзников против философов, в «Церковных известиях», безбожие Гельвеция разоблачается с не меньшим жаром. Он обвиняется в том, что своими двусмысленностями только пускает пыль в глаза поверхностных читателей, а суть книги — в проповеди материализма и безбожия. Под флагом критики языческих культов он подвергает осмеянию таинства христианской веры. Он насмехается над религиозными обрядами, разрушает всякую религию, здоровую нравственность и истинную философию. «Он открыл школу пороков, разврата и в особенности порчи нравов». Хотя книга называется «О духе» (по-французски ум и дух выражаются одним словом), ей подобает на самом деле название «О материи, различным образом организованной» или, еще правильнее: «О плоти, и плоти самой гнусной и нечистой».

В предыдущем изложении мы неоднократно отмечали антирелигиозные тенденции автора. Приведем еще несколько примеров его атак на религию.

«Христиане, справедливо клеймившие как варварство и преступления ту жестокость, с которой обращались с ними язычники, называли благочестивой ревностью те жестокости, которые они в свою очередь обрушивали на язычников».

«Перенесите в Константинополь философа, который, не будучи просвещен светом откровения, будет следовать только свету разума. Он отвергнет божественную миссию Магомета, будет отрицать его видения и лжечудеса. Не сомневайтесь, что люди, именуемые добрыми мусульманами, отвер-

нутся от этого философа, будут смотреть на него с отвращением и называть его сумасшедшим нечестивцем, а иногда даже бесчестным человеком. Напрасно будет он уверять, что в подобной религии нелепо верить чудесам, которых сам не видел; что в подобных случаях гораздо больше шансов за то, что имеешь дело с мошенничеством, а не с чудом; что верить с легкостью в эти чудеса значит не столько верить богу, сколько обманщикам... Напрасно говорил бы он, что если бы бог желал возвестить посланничество Магомета, он не стал бы творить эти чудеса, смешные с точки зрения самого неизощренного разума; он показал бы чудеса явные для всех... Какими бы доводами этот философ ни подкреплял свое неверие, он никогда не приобретет в глазах этих добрых мусульман репутации мудрого и разумного человека. И наоборот, его будут почитать как мудрого и разумного, если он проявит столько глупости, что поверит в нелепости или с лицемерием будет делать вид, что им верит».

Конечно в этих тирадах богословы не могли не увидеть нападок на христианство, на Иисуса и на чудеса «истинной» религии. Магомет и Константинополь здесь только прозрачная ширма, как в других случаях под словом «брамины» и «Индустан» нужно видеть христиан и Европу или объединить в этих обозначениях всех вообще последователей откровенных религий и самые эти религии.

Примените к ложным религиям, говорит в другом случае Гельвеций⁶⁸, политическую мысль Локка, что учреждения и законы должны изменяться в зависимости от изменений, происходящих в жизни народов, и вы «легко убедитесь в глупости основателей этих религий и их последователей. В самом деле, всякий, изучающий религии (которые, за исключением нашей, дело рук человеческих), видит, что они отнюдь не являются творением широкого и глубокого ума законодателя, а созданы ограниченным человеком. Эти ложные религии следовательно никогда не основывались на базе законов и принципе общественной пользы. Этот принцип всегда один и тот же; будучи применен ко всем различным состояниям, в которых может оказаться народ, он является единственным принципом, который обязаны принять люди, желающие начертать план новой религии и сделать ее полезной людям. Если бы в создании ложных религий всегда следовали этому плану, в этих религиях сохранили бы то, что в них было полезного... Эти религии, очищенные только от своих вредных сторон, не подчинили бы умы под постыдное ярмо глупого легковерия. И сколько преступле-

ний и суеверий исчезло бы с лица земли!» В дальнейшем мы более подробно остановимся на идее очищенной религии, имевшейся у Гельвеция, как и у многих атеистов его времени. Здесь мы привели его рассуждения для иллюстрации его оценки религии вообще, в том числе, невзирая на его оборонительные оговорки, и религии христианской.

Гельвеций не раз и с большими подробностями доказывает, что всякая религия отражает определенный уровень развития и степень культуры того народа, у которого она возникла. Его читателю предоставлялось уже решить для себя, вырос ли он сам и нация, к которой он принадлежит, из пеленок религии, принятой в его стране.

«В простоте веков невежества, — говорит он⁶⁹, — предметы являлись в виде, совсем отличном от того, в каком их рассматривают в века более просвещенные. Трагедии, изображающие господни страсти и поучительные для наших предков, нам кажутся ныне скандальными. Так обстоит дело и со всеми тонкостями, которые в те времена волновали богословов. В настоящее время нет ничего более бесстыдного, чем формальные диспуты о том, одетым или нагим присутствует бог в причастии, всемогущ ли он, может ли он грешить, может ли он воплотиться в женщине, в осле, в дьяволе, в скале, в тыкве, и тысяча других, еще более экстравагантных вопросов. Все, вплоть до чудес, во времена невежества носило отпечаток дурного вкуса того века... Эти чудеса, проповеди, трагедии и богословские вопросы, кажущиеся нам теперь такими смешными, в века невежества вызывали восхищение, и так должно было быть, потому что они находились в пропорциональном соотношении с духом времени, а люди всегда будут восхищаться идеями, аналогичными их собственным. Грубая глупость большинства из них препятствовала им познать святость и величие религии. Религия почти во всех головах была, так сказать, лишь суеверием и идолопоклонством».

Перестала ли религия быть суеверием и идолопоклонством, Гельвеций предоставляет решить своему читателю. И такого рода антирелигиозную кампанию по поводу самых различных вопросов Гельвеций проводит на всем протяжении своей книги.

г л а з а 5

Последние годы

4. Подготовка новой книги

Как мы упоминали выше, после окончания «дела», возбужденного против его книги, Гельвеций на некоторое время вынужден был оставить Париж и жить в своих поместьях. По возвращении его в Париж его салон стал еще в большей степени, чем раньше, привлекать к себе выдающихся людей Франции и образованных иностранцев, посещавших во множестве Париж. Обращает на себя внимание то, что у Гельвеция собирались в это время преимущественно представители демократических кругов французского общества.

Мы не будем останавливаться подробно на путешествиях, которые в этот период предпринимает Гельвеций. В своих поездках он собирает материал для новой книги. Он интересуется всем, что видит в чужих краях, сравнивает, размышляет.

Англия, самая свободная страна в Европе в то время, несомненно должна была оставить в нем самое приятное воспоминание. Прямых его высказываний впрочем не имеется. Но Дидро, может быть по обычай своему несколько преувеличивая, рассказывает в одном из писем к Софье Волан: «Я хочу вам показать, насколько путешественники непохожи друг на друга. Гельвеций вернулся из Лондона в безумном восторге от англичан. Барон же (т. е. барон Гольбах) вернулся совершенно разочарованным. Первый писал второму: мой друг, если, в чем я не сомневаюсь, вы в Лондоне наняли дом, напишите мне скорее, чтобы я успел упаковать жену и детей и отправиться к вам. Второй ответил: этот бедняга Гельвеций видел в Англии только преследования, которые навлекла на него его книга во Франции»⁷⁰.

В Германии он посещает Фридриха II, разыгрывающего из себя философа и покровительствующего гонимым во

Франции мыслителям. Он очарован этим просвещенным капралом и между прочим принимает от него дипломатическое поручение ко французскому двору.

Но главный интерес философа в эти годы, как и в предшествовавшее десятилетие, сосредоточен на «благе человечества», которому он служит, работая над своей второй книгой

В первое время, когда еще не улеглась буря, поднятая его книгой, Гельвеций вероятно совсем не думал о том, чтобы снова выступить на литературном поприще. Слишком сильные потрясения ему пришлось пережить, слишком близко к краю пропасти стоял он, чтобы его далеко не мужественная натура могла быстро оправиться. Мы знаем, по крайней мере со слов Гrimма, что он находился под впечатлением пережитого даже после того, как преследования давно прекратились. Дидро утверждает¹, что в самый разгар бушевавшей над ним грозы он воскликнул: «Я скорее умру, чем напишу еще хоть одну строчку!» Об этом же подавленном настроении свидетельствуют его письма к жене, написанные в те дни, когда он бегал из одной передней в другую в поисках защиты для себя и для своего цензора. Но такое угнетенное настроение не могло долго продолжаться, должно было появиться желание с одной стороны ответить своим критикам, а с другой — продолжать дело своей жизни.

Когда Дидро услышал вышеприведенное восклицание, продиктованное горечью и отчаянием, он тут же выразил сомнение в прочности этого решения и рассказал своему плоти, и плоти самой гнусной и нечистой».

«Как-то раз я стоял у окна. Вдруг на крыше послышался страшный шум, и на мостовую оттуда падают две кошки. Одна убилась до смерти, а другая, вся окровавленная, еле дотащилась до ступенек лестницы, ведущей на чердак. «Скорее я умру, — сказала она, — чем еще раз полезу туда. И чего мне там нужно? Какая-нибудь тощая мышь гораздо хуже, чем кусочек мяса, который даст мне моя хозяйка или который я сташу у кухарки. А подругу себе я сумею заманить куда-нибудь в сарай»... И, пока она предавалась этим мудрым размышлениям, боль, причиненная падением, проходит, кошка встряхивается, поднимается, ставит лапки на первую ступеньку... Через несколько минут она уже там, куда ни за что на свете не хотела больше лезть».

«Животное, созданное гулять по крышам, должно по ним гулять», — сказал Дидро. Гельвецию нужно было иное содержание жизни, чем семейные радости и помещичьи развлече-

ния. Ему мало было только блескать своим умом в кругу близких людей, очень многие из которых не покладая рук боролись против общего врага тем единственным оружием, которое было в их распоряжении, — печатным словом. Творчество стало для него второй натурой, и его талант публициста, его призвание философа должны были взять верх над малодушием и обидами. Друзья тоже побуждали его взяться за перо.

Вольтер в своих письмах к нему неустанно агитировал за новое выступление для мести за испытанное, для поддержки общего дела. В шутливом письме, начинающемся словами: «Мир во Христе» и подписанном «Жан Патурель, бывший иезуит», Вольтер пишет Гельвецию 25 августа 1763 г.: «Бог наделил вас своим просвещением. Вы должны посвятить себя разуму и недостойно оскорбляемой добродетели. Сражайтесь со злодеями, не компрометируя себя, чтобы они не узнали вас. Поступайте так, как поступает король Станислав, который иногда печатает христианские книжки на свой счет. Он всегда был настолько скромен, что скрывал свое имя». В другой раз он пишет: «Нил, говорят, прятал свою голову и распространял свои животворящие волны. Поступайте так же и вы. Вы в мире и тайно будете наслаждаться своим торжеством». Но Гельвеций пока не проявляет того усердия к «благому делу», с каким относится к нему сам Вольтер. И Вольтер выражает свое недовольство в письме к Даламберу: «Правда ли, что Гельвеций в Берлине? Мне кажется, что обвинительный акт, составленный Абраамом Шомей⁷², парализовал у него те три пальца, которыми держат перо... Неужели он не знает, что гадину можно разорвать на кусочки, не вырезая своего имени на кинжале, убивающем ее?»

В своей биографии Гельвеция Сен-Ламбер говорит, что тот не собирался опубликовать свою книгу при жизни и что он не успел отдельно ее окончательно. «Ярость преследования сильно ослабила его любовь к славе. Единственное желание — быть полезным после смерти — воодушевляло его еще». Но едвали Гельвеций мог удовлетвориться посмертной славой; вернее, что он желал еще при жизни «в мире и тайно насладиться своим торжеством». Он только колебался и неоднократно менял свои решения.

История этих колебаний очень интересна в том смысле, что дает нам возможность ближе присмотреться к нему в последние годы жизни.

Книга была закончена в 1767 г., и рукопись была отправлена в Нюрнберг, где должен был появиться ее немецкий пе-

ревод без указания имени автора. Но переводчик умер, не закончив перевода.

В августе 1769 г. в письме к своему другу и литературному душеприказчику Лефевр-Ларошу Гельвеций делится своими планами. Людям, пишет он, нужно говорить правду открыто, их обманывали слишком уж долго. В своей книге он только спрячет свой стиль и изменит имя. Какая нужда, борясь с заблуждениями, подвергать себя ударам мошенников? Нет никакой необходимости подвергать себя опасности ради «глупой славы пользоваться известностью в качестве автора книги, в которой речь идет лишь об общественном благе»⁷³.

В 1770 г. его решимость уже исчезла. Он в этом году вел переговоры об издании книги в Англии. Но в самый разгар переговоров намерение его меняется. Причины этого своего отступления он откровенно излагает в письме к Давиду Юму⁷⁴. «Мой друг (т. е. сам Гельвеций), который должен был передать г. Стюарту рукопись для перевода на английский язык, передумал. К этому его побудила боязнь преследований. Они становятся с каждым днем все более опасными. Влияние попов возрастает, и хотя они враги парламентов, но эти последние, чтобы доставить им удовольствие, охотно пролили бы кровь какого-нибудь философа. Для этого они не стали бы дожидаться даже юридических доказательств. Поэтому я посоветовал своему другу отложить до своей смерти опубликование его произведения. Он принял все нужные для этого предосторожности». В том же духе пишет Гельвеций незадолго до своей смерти Вольтеру⁷⁵: «Я устал от писания низкой прозой, не имея надежды увидеть еще при жизни что-нибудь напечатанным из моих трудов. У меня нет больше мужества для больших работ».

И он действительно в это время «отдыхает». В нем пробудился интерес к поэзии, так долго заброшенной. Он принимается отделять свою незаконченную поэму «О счастье», воскрешая в душе воспоминания об увлечениях и радостях своей молодости.

Но имеются свидетельства, что в последние дни его жизни в нем вновь проснулось желание видеть свой труд напечатанным. Князь Голицын, русский посланник в Гааге, издавший посмертный труд Гельвеция, в своей переписке с Екатериной II по поводу напечатания этого труда за счет императрицы, сообщает между прочим: «Если б Гельвеций только шесть месяцев лишних прожил, он бы свое сочинение напечатал: таково было его намерение»⁷⁶.

Другое свидетельство принадлежит Нэрону, другу Дидро

и Гольбаха, пламенному проповеднику материализма и атеизма. В своих «Исторических и философских мемуарах о жизни и сочинениях Дидро» он рассказывает ⁷⁷, что «этую книгу смело и еще более неблагоразумно начали печатать еще при жизни автора. Но при известии об его смерти печатание было приостановлено». Эта смерть была, по мнению Нэжона, очень своевременной, потому что «в этот момент она одна могла избавить его от ярости его врагов — духовенства и парламента, и лишить этих врагов — несомненно к их великому сожалению — возможности совершить новое преступление против философии». Дальше Нэжон рассказывает, что Дидро уговаривал Гельвеция воздержаться от напечатания этой книги при жизни. Но Гельвеций, «пожираемый страстью к славе» с одной стороны, а с другой — желая публично выразить «подлым фанатикам свое праведное презрение», не внял мудрым советам приятеля. Кроме того «он хотел насладиться успехом сочинения, усовершенствованию которого посвятил десять лет... К счастью он не успел раскаяться в своем неблагоразумии».

Как бы там ни было, но Гельвеций не дожил до выхода в свет этой книги.

Мы уже видели, что последние годы философа были омрачены боязнью новых преследований, если бы его книга увидела свет. В приведенном выше письме к Вольтеру он говорит об усталости и потере мужества, необходимого для дальнейшей работы.

Этот пессимизм с особенной безнадежностью он высказывает в предисловии к своей новой книге, написанном за год до его смерти. Перемены в судьбе его сограждан, говорит он там ⁷⁸, заставили его потерять всякую надежду быть им полезным. Только поэтому, а не из боязни преследований решил он отложить печатание книги. «Моя родина получила наконец ярмо деспотизма, а деспотизм удушает мысль в умах и добродетель в душах. Этот народ уже не под именем французов станет снова знаменитым. Эта униженная нация служит ныне предметом презрения Европы. Никакой спасительный кризис не вернет ей свободы». Только в завоевании Франции видит Гельвеций средство против ее несчастий. Просвещение будет уменьшаться со дня на день, и средства для внутренней борьбы с самодержавным режимом не будет. Взоры философа устремляются на север, потому что «южные солнца погасли, а северные сияния горят ярким блеском». В Екатерине и Фридрихе видит он теперь спасителей, «просветителей мира», которые «чувствуют всю цену истины».

Разум философа затуманился, взгляд его утратил свою проницательность. Он забыл уже, что в этой же книге он доказывает несовместимость деспотизма с просвещением. «Нелепость, общая для всех народов, ожидать от своего деспота человечности, просвещения,— говорит он здесь. И добавляет:

«Хотеть, чтобы человек, стоящий выше закона, т. е. человек без закона, был всегда человечным и добродетельным, это — хотеть действия без причины».

Что же повергло Гельвеция в такой безысходный пессимизм? Что происходило во Франции в эти годы?

Последние годы царствования Людовика XV ознаменованы сильнейшей политической реакцией; с другой стороны финансовый кризис, непомерные налоги вызвали страшное вздорожание хлеба и голод, длившийся ряд лет. В 1770 г беднейшее население Франции почти не видело хлеба, питаясь бобами, овсом и травами.

В ответ на участившийся выход в свет книг, направленных против религии и существовавшего строя, усилились репрессии. Раздавались требования об аресте Вольтера, который вынужден был, чтобы избежать преследований, пускаться на всякие хитрости, вплоть до публичного причащения, которое он называл «остроумной шуткой». Но гонения не помогали. Печатные станки во Франции и за границей (преимущественно в Голландии) не переставали усиленно работать, ежедневно выпуская какую-нибудь «адскую книгу». Это была, как говорил Дидро, «тысяча дьяволов, сорвавшихся с цепи».

Дряхлый король, которого состарили не столько годы, сколько распутство, был безвольной игрушкой в руках хитрого и пронырливого реакционера — канцлера Мопу. Под его влиянием он начал систематическое давление на парламенты, считавшиеся последним оплотом народных достижений былых времен, урезывая их права. Изданный им эдикт был настоящим обвинительным актом против парламентов. Парижский парламент, отказавшийся зарегистрировать этот эдикт, был уничтожен, а его место (24 января 1771 г.) занял Верховный совет.

После этого события реакция усилилась еще больше, но до полного разгара ее Гельвеций не дожил.

Об этих событиях и говорит он в своем предисловии. Они вызвали в нем столь не свойственный его натуре пессимизм. Но главной причиной этого пессимизма, нужно полагать, была болезнь, все больше овладевавшая его организмом.

2. Смерть Гельвеция.— Судьба его сочинений

«К началу 1771 г., — рассказывает Сен-Ламбер, — в его настроении и вкусах были замечены перемены. Не стало его обычной ясности, он меньше интересовался беседами, которые раньше любил больше всего, легко утомлялся и почти совсем перестал охотиться». Окружающие приписывали эту перемену чисто нравственным причинам и не видели в ней признаков прогрессирующей роковой болезни. А она между тем уже не выпускала его из своих цепких рук. Он чувствовал со дня на день, как уходят его силы.

«Приступ подагры, бросившейся в голову и грудь, сначала лишил его сознания, а вскоре и жизни». Он умер 26 декабря 1771 г.

Смерть философа почти всегда служит испытанием его теорий, прочности его убеждений. Гельвеций умер, как и жил, убежденным атеистом. В мемуарах Башомона⁷⁹ рассказывается об этом следующим образом: «Философ был вынужден поступиться своими принципами и своим отречением (от взглядов, высказанных в книге «Об уме») доставил удовольствие ханжам. Но в последние моменты, когда он увидел, что прятаться уже не приходится, он, говорят, раскаялся в своей слабости и упорно отказывался подчиниться церемониалу, обычному в таких случаях. Настоятель церкви Сен-Рок не мог убедить этого неверующего. Тем не менее ему не было отказано в чести христианского погребения, чего очень боялись». Этот рассказ подтверждается и другими свидетелями.

Итак, Гельвеций не дождался опубликования своей книги. Друзья его немедленно после его смерти горячо принялись за дело. Но перед ними стояли немалые трудности. Еще свежи были в памяти удары, постигшие философа и его первую книгу. А опубликование второй книги, еще более смелой, могло навлечь на всех причастных к этому делу лиц, и в первую очередь на вдову и дочерей Гельвеция, прямое или косвенное нападение со стороны его врагов. Нужно было обставить дело так, чтобы книга вышла в свет, по внешности по крайней мере, помимо его друзей и близких.

С этой целью рукопись передается другу философов, либеральному русскому вельможе князю Голицыну, бывшему посланнику Екатерины во Франции, а в то время посланнику в Гааге⁸⁰. Голицыну нечего бояться со стороны французских властей, но он очень боится Екатерины, которая не всегда

к нему милостива. И он пытается издать книгу Гельвеция за счет императрицы и с посвящением ей.

В своих донесениях он обычно сообщал Екатерине обо всех выдающихся явлениях из общественной и умственной жизни Франции. Сообщает ей и о книге Гельвеция, «составлявшей тогда предмет разговоров во всех ученых кружках и собраниях мыслящих людей», и просит о содействии напечатанию книги.

Екатерина очень заинтересовалась книгой Гельвеция, оглавление которой Голицын приложил к своему донесению, и приказывает спешно прислать ей копию. Но на печатание она решиться не может, «ибо оный (подлинник) принадлежит семье покойного». «А с моей стороны, — говорит она, — было бы непохвально навлечь им моей решимостью преследования или подвергнуть таковым друзей автора».

Поощренный проявленным интересом, Голицын успокаивает императрицу: «Наследники и друзья Гельвеция пламенно желают скорейшего напечатания; они льстятся, что сочинение заслужит автору бессмертное имя между писателями и уважение отдаленного потомства»⁸¹. Он от имени семьи Гельвеция просит ее взять на себя расходы по печатанию, принять посвящение этой книги и уверяет, что подлинник находится в его руках и в полном его распоряжении. Конечно ни семья Гельвеция, ни сам Голицын не нуждались в деньгах. Все это делалось для того, чтобы вовлечь Екатерину в предприятие и ее именем обеспечить ему хотя некоторую безопасность.

Но осторожная Екатерина на удочку не поддается. «Ожидая заказанной мною копии, — пишет она, — запрещаю посвящение, и нет мне дела ни до печатания, ни до подлинной рукописи».

Видя, что с Екатериной каши не сваришь, кн. Голицын на свой риск отыскивает издателя и приступает к печатанию. Копии он так и не высыпает. Печатание уже далеко продвинулось вперед, когда Екатерина вспоминает о книге и вновь приказывает выслать ей копию. Вместо копии посланник посыпает ей выписки из предисловия Гельвеция, содержащие нападки на государственный режим Франции, и сообщает, что по настоящему наследников книга уже находится в печати.

Между русским и французским дворами отношения в это время были крайне натянутыми, и мы представляем себе, что Екатерина, увидев из предисловия, что для французского двора эта книга будет очень неприятной, решила впаку ему принять посвящение.

Книга «О человеке, об его умственных способностях и об его воспитании» вышла в свет в первых месяцах 1773 г. На заглавном листе ее красовалось посвящение: «Ее императорскому величеству, высочайшей и могущественнейшей государыне Екатерине II, императрице всероссийской, покровительнице художеств и наук, по уму своему достойной судить о древних народах так же, как она достойна управлять своим». Любопытно заметить, что издание кн. Голицына, повидимому благодаря этому посвящению, не подверглось преследованиям, тогда как лондонское издание, вышедшее в конце 1773 г., постановлением парламента от 10 января 1774 г. было осуждено на сожжение.

Даламбер в письме к Вольтеру уверяет, что публика сильно удивится, увидев, что в этой книге «католицизм рассматривается как отвратительнейшая религия, которую могут поддерживать только палачи, деспотизм рассматривается почти так же, а все вместе посвящено самой деспотической на всей земле государыне». Но всего замечательнее в этом анекдоте то, что эта всемилостивейшая покровительница зарубежных философов и гонительница философов российских запретила продажу в России посвященной ей книги.

Книга «О человеке», так же как и первый труд Гельвеция, пользовалась огромным успехом. Она выходила отдельно не менее, чем у пяти издателей и кроме того входила в «полные» издания, которых до революции было не менее семи. На немецкий язык она была переведена дважды; переводилась она также на английский и итальянский языки.

После смерти Гельвеция издаются одно за другим собрания его сочинений, в которых кроме главных его трудов, а также стихотворно-философских его опытов часто печатались произведения, принадлежность которых ему установить невозможно.

Одним из таких сочинений является «Истинный смысл системы природы»⁸².

Хотя с абсолютной уверенностью и невозможно утверждать, что эта вещь, являющаяся по существу изложением голльбаховской «Системы природы», написана не Гельвецием, но ни метода, ни стиля Гельвеция в ней мы не находим. Кроме голословных указаний издателей не существует ни прямых, ни косвенных доказательств принадлежности ее его перу. Наоборот, литературный душеприказчик Гельвеция Лефевр-Ларош в свое издание ее не включил. Г. В. Плеханов, цитируя эту вещь, оговаривается, что она только «приписывается» Гельвецию. Следует однако заметить, что по своему содер-

жанию это произведение взглядам Гельвеция не противоречит.

Нельзя этого сказать о другой приписываемой Гельвецию книге: «Прогресс разума в поисках истины». В этом сочинении есть нахватанные у него и других материалистов места, но там имеются такие благочестивые выходки, которым Гельвеций был совершенно чужд, вроде например: «смерть не может испугать человека, знающего, что участь его находится в руках совершенного разума». Это совсем не в его духе.

О других сочинениях, приписываемых Гельвецию, следует сказать, что валить на покойников грехи живых было в моде у писателей, прятавших свое авторство. С другой стороны в интересах издателей было покрывать знаменитым именем часто бездарные вещи: это обеспечивало им сбыт.

«Мысли и размышления», опубликованные через 25 лет после смерти философа Лефевр-Ларошем, и «Собственно-ручные заметки», упоминавшиеся нами, самостоятельными произведениями не являются: это — черновые тетради, не предназначавшиеся для печати. Но они ценные в том отношении, что часто дают нам подлинную, не замаскированную мысль автора, позволяющую уразуметь спорные места в опубликованных им книгах.

Глава 6

Книга „О человеке“

1. Наука о человеке.— Борьба с религией

Приступая к изложению книги Гельвеция «О человеке», мы должны оговориться, что по необходимости это изложение будет кратким. Мы рассмотрим только наиболее характерное, останавливаясь преимущественно на той антирелигиозной кампании, которую в этом своем сочинении Гельвеций ведет уже менее прикрыто, чем в книге «Об уме».

Наука о человеке — огромная, необъятная наука. Человек как предмет изучения представляет множество сторон, и каждой из них интересуется своя отрасль знания. Философ, изучая человека, имеет в виду его счастье, которое зависит от законов страны и полученного им воспитания.

«Человек рождается невежественным, но он не рождается глупцом». Следовательно воспитание является причиной того неравенства в умах, которое обычно приписывается неодинаковому совершенству органов.

Конечно увлеченный своей целью человеческого счастья, видя, совершенно справедливо, необходимость поставить воспитание на высоту науки, приписывая ему огромную роль как фактору прогресса, Гельвеций несколько перегибает палку. Воспитание еще не все, и мы знаем теперь, что характер общественного воспитания зависит не от просвещенности воспитателей и не от совершенства «плана воспитания», но главным образом от строения общества. Гельвеций видел это только отчасти и неясно.

Но для того времени со своей пламенной верой в воспитание, заострив на нем свою мысль, Гельвеций был прав исторически: он был реформатором, делавшим переворот в науке педагогики. Он рассматривал воспитание, как общественное дело, он трактовал о воспитании массовом и переносил его из индивидуальной плоскости, в которой оно

до того времени находилось, в плоскость научную, исключающую частности и выдвигающую на первый план закономерные обобщения. В этом его огромная заслуга, и в этом он безусловно прав.

Воспитание начинается с первого момента жизни ребенка, даже еще во чреве матери. Первыми учителями являются ощущения; предметам, окружающим детство, оно обязано почти всеми своими идеями. Ясно, что одинакового воспитания никто получить не может, потому что от случайности здесь зависит все, а вся наша жизнь соткана из случайностей.

Гельвеций не рассматривает воспитание, как механическое и пассивное восприятие впечатлений. Он учитывает и психологический момент: восприятие изменяется воспринимающей средой, т. е. психикой. Даже если бы могло случиться, говорит он, что два человека испытывают одинаковые влияния внешней среды, они воспринимали бы эти влияния различно, потому что одинаковое душевное состояние невозможно. Но его взгляд направлен в другую сторону, и отсюда его односторонность, может быть умыщенная.

Отрочество является переломным моментом, и воспитание этого периода является решающим для всей остальной жизни. Пробуждаются известные страсти, все предметы природы оказывают свое воздействие с особой силой. Устанавливаются вкусы и характер, определяются привычки. Подросток входит в мир, начинается его второе воспитание. Разрывается принудительное однообразие школьной жизни, случай приобретает гораздо более сильное влияние, чем родители и воспитатели. «Новыми и главными воспитателями юноши являются форма правления и нравы, которые эта форма правления прививает нации». Затем играет огромную роль его социальное и имущественное положение, круг его друзей и знакомых и т. д. В зависимости от этого общественного положения потухают или разгораются его страсти, являющиеся часто даже непосредственным результатом общественного положения, а характер в человеке есть результат его страстей.

Если слышу, понимаемому, как «неизвестное сцепление причин, могущих произвести то или иное действие», почти целиком предоставлено нравственное воспитание человека, то, чтобы уменьшить его влияние, взять его в руки, нужно план воспитания построить по линии общественной полезности, основав его на простых и неизменных принципах.

Гельвеций вовсе не думает таким образом, как его понимали Дидро и другие критики, что человека можно воспитать

по желанию, на любой манер, что воспитание планомерное, руководимое сознательным воздействием,— это все. Ею мысль гораздо глубже и вернее. Задача науки о воспитании— это познание причин, влияющих на образование характеров, выведение общих законов и их использование в направлении поставленной цели.

Общественное воспитание, указывает Гельвеций, в Европе, и особенно в католических странах находится в руках как светской, так и духовной власти. Отсюда его несоответствие общим задачам и противоречия. Власть попов зависит от суеверия и легковерия народов. Чем менее эти народы просвещены, тем более они послушны. Духовенству нужны в народе слепое повиновение, безграничное легковерие, ребяческий и панический страх. Духовенству нет дела до патриотических добродетелей. Для величия страны нужны сильные страсти, направленные к достижению общего блага; священнику, наоборот, нужно заглушить в человеке всякое желание, отвратить его от его богатств и власти, чтобы воспользоваться тем и другим. Религиозная система всегда была направлена в эту сторону.

Подобно всем почти остальным просветителям, Гельвеций видел происхождение религии и главную причину ее существования в обмане. Если у него проскальзывают моментами другие суждения, то они случайны. В этом была теоретическая слабость французских материалистов, остававшихся идеалистами в объяснении общественных явлений. Но эта слабость в то время ничуть не вредила их практическому стремлению — разрушить власть религии и духовенства.

Гельвеций принимает на веру поповское учение, будто христианство с самого основания своего проповедывало общность имуществ. Но кто стал хранителем этих имуществ? Священник. Он нарушил доверие своей паствы и присвоил их. Кто поддерживал сказки о конце света? Священник. Ему нужно было, чтобы люди занимались только одним делом — своим спасением. Его проповеди если не уничтожили в них совсем, то сильно ослабили любовь к близким, к славе, к общественному благу и к родине. Он воспользовался этим, чтобы захватить власть. В качестве образцов поведения были выдвинуты на место прежних героев святые, пустынники, спасавшиеся в монастырях, праздные и бесполезные, а потому и вредные для общества люди. По этим образцам нас стали приучать рассматривать пребывание на земле как короткое путешествие. И в самом деле, для чего тогда проявлять большой интерес к здешним вещам? «Путник не чинит

стен той гостиницы, где он останавливается, чтобы провести только ночь».

Гельвеций — сторонник светского воспитания. Он приводит примеры разительных противоречий между требованиями общественной жизни и правилами религиозного воспитания. Он ведет нас в женский монастырь, где воспитываются у набожных монахинь молодые девицами, дочери состоятельных родителей. Их учат тому, что бросать даже самые невинные взгляды на мужчину грешно и богу не угодно; а через полчаса учитель танцев на живом примере опровергает эти поучения. Он подводит нас к домашнему очагу, где светская мать, занимаясь изысканным туалетом, внушиает дочери, согласно правилам религии, что телесная красота — ничто. Он нам рисует молодого человека, которого учат, что первая обязанность — это соблюдение законов, а вторая — их нарушение, если этого требует «долг чести». Светский отец советует сыну быть всегда верным своему слову, а богослов этому сыну рассказывает, что по отношению к врагам божиим это не обязательно. Проповедник с кафедры доказывает, что бог христиан — бог истины, а когда кто-нибудь напишет истинную историю своего времени, против него ополчаются все поклонники этого бога истины. Воспитатель внушил своему ученику мягкость и человечность, а духовник говорит ему, что людям можно прощать их пороки, но не заблуждения, что в последнем случае синхронительность есть преступление и нужно сжигать на кострах всякого инакомыслящего.

Гельвеций — сторонник светского воспитания; это естественный вывод из его антиклерикализма.

«Всякая религия, основанная на страхе перед невидимой силой, есть сказка, которая, если она признана нацией, носит название религии, если же она этой нацией не признана, носит название суеверия». Приведя это определение Гоббса, с которым он соглашается, Гельвеций с иронической осмотрительностью добавляет: «Я не воспользуюсь этим определением, чтобы отрицать истину религии. Если я в этом вопросе положусь на мою няньку и на моего наставника, то всякая иная религия ложна, истинна же только моя». Если это нелепо, то в этой нелепости я виноват наравне со всеми людьми, замечает он.

Гельвеций полагал, что просвещение будет проникать в народные массы очень медленно, мало-по-малу. «Должны пройти века», — говорит он где-то. И, как человек, стремящийся к практическим результатам, он хочет сделать неиз-

бежные предрассудки менее вредными, хочет религию пристегнуть к работе просвещения и с этой целью указывает план «очищенной» религии. Эта «универсальная» религия должна быть основана на неизменных, почерпнутых из природы человека и вещей, принципах. Первый из этих принципов, самый священный, это — принцип неприкословенности частной собственности, жизни и свободы гражданина, т. е. то, что, как воздух, было необходимо нарождавшемуся буржуазному обществу, идеологом которого Гельвеций был. Надо щадить некоторые предрассудки, в частности имя бога, имеющее еще такую власть над умами невежественных масс. И в своем символе веры универсальной религии Гельвеций к этому богу взыывает.

«Бог сказал человеку: я сотворил тебя, дал тебе пять чувств, я наделил тебя памятью и следовательно разумом. Я хотел, чтобы твой разум, изощренный сначала нуждой, просвещенный затем опытом, снабжал тебя пищей, научил бы тебя делать плодоносной землю, совершенствовать орудия ее обработки, научил бы тебя всем наукам первой необходимости. Я хотел, чтобы, совершенствуя этот свой разум, ты познал мои желания в области нравственности, т. е. твои обязанности к обществу, способы сохранять в нем порядок и начинать наилучшее возможное законодательство». Это единственный культ, универсальный культ, которого хотел Гельвеций для человечества. В такой религии не было бы других святых, кроме благодетелей человеческого рода, законодателей, изобретателей и т. д. Эту «религию» Гельвеций конечно всерьез не принимал, он просто именем бога, как пиявку, облек свою мысль, чтобы ее легче было проглотить тем, кто еще не может отказаться от этого предрассудка.

Священники конечно не будут апостолами этой религии, продолжает он свою мысль, чтобы еще более подчеркнуть ее не принципиальный, а утилитарный, политический смысл. Основания здоровой морали можно заложить лишь на развалинах большинства религий. «Мораль, основанная на истинных принципах, есть единственная истинная религия».

До Гельвеция еще английские деисты много занимались вопросом о том, нельзя ли вместо положительной, насквозь пропитанной суевериями, религии учредить религию рациональную, основанную на разумных принципах, «естественную религию». Но деисты в этих своих построениях исходили из мысли, что идея божества прирождена человеку, они сами верили философски в это божество и рассматривали «естество-

венную религию» не как временную, не как переходную ступень к полному безверию, а как высшее воплощение присущей людям религиозной потребности. Французские безбожники, занимаясь вопросом об усовершенствовании положительной религии, становились не на «философскую» позицию, как английские деисты XVII в., а на позицию политическую. Так поступал например вождь французских безбожников Дидро, когда перед ним встал практический вопрос, как быть с религией и духовенством в государстве, которое должно очиститься от всех скверн прошлого. Этим государством была Россия, а свои планы о рационализации религии Дидро развивал перед «Семирамидой Севера» — Екатериной II, обманувшей его, как и многих других его современников, своим показным философским радикализмом. Он советовал Екатерине принять ряд мер к принижению духовенства как сословия, чтобы уменьшить его влияние, и к упрощению таким путем религии. «Большинство нации, — говорил он, — всегда останется невежественным, боязливым, следовательно суеверным. Атеизм может быть учением маленькой школы, но никогда не станет учением, принятым большим числом граждан, и тем паче не будет он достоянием малокультурного народа. Вера в существование бога, или старый корень, останется навсегда. И если этот корень предоставить свободному развитию, то кто может сказать, какие чудовищные ростки могут еще от него произойти?»⁸³.

На такой же позиции стоял друг, ученик и последователь Дидро Жак Нэжон, когда ему пришлось поучать атеизму и антирелигиозной политике депутатов Учредительного собрания в 1790 г. В своем «Адресе Национальному собранию» он почти дословно привел те рассуждения, которыми Дидро думал убедить самодержавную императрицу. В предисловии к редактируемому им словарю древней и новой философии, являвшемуся отделом изданной Панкуком «Методической энциклопедии», он критикует религиозную политику Национального собрания, и в частности «Гражданское положение о духовенстве». «Характер и многообразие функций, оставшихся у духовенства, — говорит он⁸⁴, — дают ему еще слишком много влияния и способов приносить вред. Меры, принимаемые к тому, чтобы очистить и уменьшить число догм национальной религии и упростить ее культ, еще недостаточны». Нэжон надеется, что революционные законодатели увидят себя вынужденными декретировать в качестве конституционного закона упрощенный религиозный культ, который был принят на острове Тернат. Там якобы немой священ-

Послужитель палочкой показывал молящимся начертанную в храме надпись: «Почтай бога, люби своего ближнего и иювинуйся закону». В этом и состояла вся церемония богослужения.

Как Гельвеций, как Дидро, Нэжон не верил в способность народных масс просветиться в такой степени, чтобы познать истину атеизма. Чтобы быть атеистом, думал Нэжон, «нужно обладать, кроме обширных познаний во многих трудных науках, также некоторой силой разума, являющейся результатом счастливой физической организации». Под этим размышлением скрывалась заурядная буржуазная боязнь народных масс. Только, в отличие от позднейших представителей буржуазного индивидуалистического атеизма, у Нэжона, как и у других безбожников французской философии, это недоверие к народу не было осознано, как противопоставление интересов своего класса интересам народа — пролетариата и крестьянства. Но именно этим бессознательным классовым чувством и следует объяснить все непоследовательности в вопросах борьбы с религией у «философов» и у революционеров буржуазной Франции. Им была совершенно чужда и недоступна мысль, что трудящиеся массы могут воспитаться в религиозном свободомыслии только путем активной борьбы с теми общественными классами и группами, которые пользуются религией, как средством порабощения и угнетения. Они чувствовали себя опекунами народа, а не его вождями.

Французская революция является нам примеры введения «очищенной» религии взамен суеверного христианского культа. Такова была религия, именовавшаяся «Культом Развума», — «атеистический» суррогат религии. Деистическим суррогатом была теофилантропия с признанием творца и почитанием его как «отца природы». Вопросы религии горячо дебатировались «равными», и они с согласия имевшихся в их рядах немногих атеистов занимались составлением катехизиса и устава новой религии, в которой божество должно было почитаться путем проповеди естественного закона. Мы не говорим о религии Робеспьера — культе верховного существа. Это была подлинная мистическая религия с верой в бессмертие души и загробные воздаяния. Хотя эта религия противопоставлялась католицизму, но она в то же время противопоставлялась и атеизму со всей нетерпимостью поповской веры⁸⁵.

Таким образом Гельвеций с выдуманной им «универсал-

ной» религией в сущности оставался в границах, свойственных буржуазному индивидуалистическому атеизму «философов» и деятелей революции. Его построения носили тот же практический характер, что и проекты других безбожников эпохи, видевших во введении «менее вредной религии» большой успех для дела освобождения народа от ига предрасудков.

Очень характерна для Гельвеция его критика религии с точки зрения экономической. Бывший генеральный откупщик умел оперировать цифровым материалом, и его доказательства вреда, причиняемого нации слишком дорогой религией, весьма убедительны.

Есть католические страны, говорит он, имея в виду Францию, в которых насчитывается приблизительно 15 тыс. монастырей, 12 тыс. приорств (настоятельств), 15 тыс. часовен, 1 300 аббатств, 90 тыс. священников, обслуживающих 45 тыс. приходов; кроме того в этих странах имеется множество аббатов, семинаристов и иных духовных лиц. Их общее число равняется по меньшей мере 300 тыс. человек. В среднем каждый священник обходится стране экю в день. Какие же чудовищные суммы выкачивает духовенство из нации? Возьмите так называемую десятину, своего рода натуральный налог на продукты земледелия. От десятины духовенство получает почти столько же, сколько все землевладельцы вместе. Доход духовенства от одной десятины земли (агрепт) в три года равен 17 ливрам 10 су, тогда как землевладелец, сдающий эту землю фермерам, получает с этой же самой десятины 18—21 ливров. Но из этой суммы землевладелец платит налоги и покрывает целый ряд других расходов, тогда как духовенство получает чистую прибыль. Вы можете представить себе, какими колоссальными богатствами обладают священники! Уменьшите их число даже до 200 тыс., и все-таки их содержание будет стоить 210 млн. в год. Какой мощный флот и какую огромную армию можно содержать на эти деньги! Религия, так дорого обходящаяся государству, не может долго быть религией просвещенной и культурной страны. Народ, который ее признает, работает только для того, чтобы поддерживать роскошную и сытую жизнь священников, и каждый гражданин является рабом духовенства.

Гельвеций знает радикальное средство, чтобы уменьшить, если не уничтожить это зло. Уменьшить число священников, изменить культ. Фонды, находящиеся в руках духовенства, отнюдь не неприкосновенны: они собраны у бедных.

«Светская власть имеет право взять на себя управление» этими имуществами, которые монахи «украли у бедных», и «употребить их на облегчение положения несчастных путем ли милостынь, или уменьшением налогов, или приобретением мелких земельных участков для распределения между безземельными»... В другом месте он советует «делить десятину каждого прихода между крестьянами, которые тогда будут лучше возделывать свою землю». «Раздел этой десятины образует больше трудящихся и честных людей, чем проповеди всех попов». Наконец есть еще одно средство. «Величайшим благодеянием для Франции было бы, если бы часть слишком больших доходов духовенства пошла на покрытие национального долга. Что сказали бы церковники, если бы им обеспечили в течение их жизни проценты с их богатств и воспользовались бы ими лишь после их смерти? Какое несчастье случилось бы, если бы столько богатств влилось в обращение?»⁸⁶.

Идеей конфискации церковных имуществ воспользовалась французская революция. Впрочем Гельвеций не был первым, публично высказавшим эту идею. В августе 1770 г. Государственный совет обрушился на книгоиздателей, напечатавших без разрешения анонимное сочинение, озаглавленное: «О праве государя на недвижимые имущества духовенства и монахов и об употреблении, которое он может сделать из этих имуществ для счастья граждан». В нем королю давался совет, который заставил «возопить» епископов,—погасить государственный налог, отобрав недвижимые имущества духовенства. Эти имущества, составляя почти треть всех недвижимых имуществ королевства, приносили ежегодный доход в три миллиарда ливров⁸⁷. Это обстоятельство не умаляет конечно заслуги Гельвеция, а только свидетельствует о том, как чутко он относился к переживаемым его родиной бедствиям и как правильно, при своем исторически ограниченном кругозоре, находил он средства к их исцелению.

Следующим мероприятием государственного характера, клонящимся к уменьшению авторитета религии и также в известной мере осуществленным в период революции, является объединение в одних и тех же руках светской и духовной власти. Гельвеций полагает, что если магистрат, как это было в Риме, соединяет в своем лице двойную функцию—сенатора и служителя алтарей, то «священник в нем всегда будет подчинен сенатору, а религия всегда подчинена общественному благу».

Здесь мы позволим себе маленько отступление. Диdro в своем опровержении книги Гельвеция высказываетя решительно против этого предложения последнего. «Было бы большим несчастием, — писал он в своих замечаниях⁶⁸, — если бы врач был священником; но еще большим несчастием было бы, если бы священник был королем». С этим соглашался и Гельвеций и в одном из примечаний специально оговаривался: деспоту конечно благо его подданных безразлично, и он часто пользовался бы своим духовным авторитетом, чтобы освятить свои капризы и жестокости; но именно поэтому и должно эту власть передать магистратуре. Диdro конечно был прав, когда дальше замечал: «из такого инструмента, как бог, ничего путного получиться не может: соединение лжи и истины всегда порочно, и поэтому не нужно ни попов, ни богов». И Гельвеций, как мы скоро увидим, был того же мнения. Но характерно то, что когда Диdro начал давать практические советы русской императрице, — а книгу Гельвеция, заметим это здесь мимоходом, он критиковал как-раз находясь на пути в Петербург, — он без колебаний применял рецепты, вычитанные им у Гельвеция, слегка лишь их изменяя.

Так, он рекомендовал сделать из священников государственных чиновников, подчиненных светской власти.

Французская революция использовала не только идею конфискации церковных имуществ. Другие, предлагаемые Гельвецием меры, в той или другой степени также были применены для обезоружения реакционного духовенства. Но для оценки радикализма Гельвеция в его отношении к духовенству необходимо помнить, что, рекомендуя все эти мероприятия, он их рассматривал лишь как временные меры, пригодные для переходного периода. Он был сторонником, в сущности, полного уничтожения духовенства. В одном из примечаний, которые зачастую гораздо больше, чем текст, выражают его истинные мысли, он пишет: «Вы еще ничего не сделали против духовного сословия, если просто его принизили. Тот, кто его не уничтожает, только дает ему отсрочку, а не разрушает его влияния. Сословие бессмертно: благоприятных обстоятельств достаточно, чтобы вернуть ему его прежнюю власть». А уж тут оно себя покажет. Гельвеций указывает на английское духовенство, бессильное, но не уничтоженное. «Кто может поручиться, — спрашивает он, — что, вернув свое прежнее влияние, это сословие не проявит своей прежней свирепости?»

Заметим здесь еще, что Гельвеций полностью одобряет отделение церкви от государства. Он приводит как пример, достойный подражания, конституцию одного из Североамериканских штатов — Пенсильвании. «В Пенсильвании нет правительственной религии; каждый там выбирает себе религию по своему усмотрению. Священник там ничего не стоит государству. Он, как торговец, живет за счет потребителя. У кого нет священника и кто этого товара не потребляет, тот ничего и не платит».

Эта борьба с католицизмом, с христианством, с религиями вообще ведется на всем протяжении книги. Одна из «секций» например посвящена доказательству того, что «доброте и счастье народа есть результат не святости его религии, но мудрости его законов». Религия — не добродетель, говорит он там. Всякое верование, всякий вообще отвлеченный принцип обычно не оказывают никакого влияния на человеческое поведение. Голод, потребности делают граждан деятельными, мудрые законы делают их добрыми. Чему учит нас история религий? Тому, что они всюду разжигали факелы нетерпимости, усеивали равнины трупами, затопляли деревни в крови, сжигали города, опустошали государства. Но никогда благодаря им люди не становились лучше. «Зло, причиняемое религиями, совершенно реально, а польза их воображаемая».

В этих ясных и сильных словах Гельвеций определяет свое отношение ко всякой религии. Он не бесстрастен на этих страницах, как обычно. На холодном лице мудреца появляется краска гнева и возмущения гонимого за истину. С особой силой бичует он католическую религию, наиболее близкую к нему и наиболее ненавистную, и ряд глав посвящает ордену иезуитов, проявивших исключительное усердие в поднятом попами и ханжами походе против его знаменитой книги.

В своих критических замечаниях на книгу Гельвеция «О человеке», заметках, не предназначавшихся для печати и потому очень часто необдуманных и неосновательных, Дидро не раз обращает внимание на то, что автор, говоря о религии, часто прячет свою подлинную мысль. Благодаря этой малодушной трусости, говорит он⁸⁹, потомство, не зная, каковы были его истинные взгляды, скажет: «Как, этого человека так жестоко преследовали за его вольнодумство, а он верил в троицу, в грехопадение, в воплощение!» И таким образом боязнь священников уродовала, уродует и будет уродовать все философские сочинения. Эта боязнь Аристо-

теля делала попеременно то противником, то защитником конечных причин, побудила некогда выдумать двойственное учение о философской и богословской истинах и в современные сочинения ввела отвратительную мещанину из неверия и суеверия.

К этому Дидро прибавляет слова, под которыми конечно подписался бы и Гельвеций обеими руками: «Я предпочитаю философию ясную, точную и откровенную в духе «Системы природы» или, еще более, — «Здравого смысла». Я сказал бы Эпикуру: если ты не веришь в богов, то зачем было загонять их в междупланетные пространства? Автор «Системы природы» не является атеистом на одной странице и дентом на другой: его философия выкована из одного куска».

Дидро конечно не сомневался в атеизме Гельвеция. Но ему не следовало забывать, что Гельвеций не собирался выпустить свою книгу анонимно или под чужим флагом, как выпускал Гольбах свои названные выше произведения. И, прежде чем обрушиваться с негодованием на Гельвеция, ему следовало бы вспомнить о тех уловках, к каким прибегал он сам в произведениях, предназначенных к опубликованию.

Но в самом деле, был ли Гельвеций атеистом в полном смысле слова, или же он был только антирелигиозным философом в духе Вольтера? На этом вопросе необходимо остановиться тем более, что даже имя его, кажется, не упоминается в четырехтомной истории атеизма Фр. Маутнера, а этот историк атеизма охотно цитирует, как неверующих, людей, очень часто совсем далеких от действительного неверия. А с другой стороны самый компетентный французский исследователь жизни и сочинений Гельвеция А. Кейм, огромным трудом которого мы не раз пользовались, приписывает его взглядам умеренность, которой на самом деле не было, и, увлеченный желанием приспособить Гельвеция к воззрениям французской буржуазии, изображает его каким-то позитивистом, сознательно отстраняющим исследование причин и ограничивающимся только данными опыта. Этот биограф иногда даже выставляет его дентом.

Итак, был ли Гельвеций атеистом? Если мы к этому вопросу отнесемся внимательно и с пониманием философа и его времени, нам покажется странным, как можно сомневаться в том, что было ясно для богоискателей всех родов как при жизни Гельвеция, так и после его смерти. Он обладал очень продуманным и вполне серьезным убеждением в отсутствии в мире какой бы то ни было причины кроме материи и движения.

Выше, передавая рассказ Дидро о его споре с Гельвецием на антирелигиозную тему, мы привели цитату из «Собственноручных заметок» Гельвеция. Мысль его там такова: если признавать, что движение присуще материи, то нет никакой нужды в боге для объяснения происхождения мира и жизни. В другом месте тех же заметок он с не меньшей ясностью говорит: «Благодаря системе притяжения нет необходимости признавать какого-нибудь бога (как первопричину). Ибо если в материи имеется свойство взаимного притяжения, то тела должны были притягиваться, пока они не пришли к тому положению, в каком обретаются ныне, т. е. пока они не приобрели равновесие притяжения». Этим устраивается, прибавляет Гельвеций, возражение, что в мире всюду наблюдается целесообразность.

Это не только атеизм, но это возражение против всякого, даже смягченного признания бога. Может быть, это случайное высказывание? Нет, в книге «О человеке», где наш автор хотя и был осторожен, но не в такой степени, как в своем первом произведении, мы находим такое же ясное исповедание атеизма.

Человек чувствует, говорит он, потому что в нем имеется жизненное начало. Но без крыльев богословия притти к познанию этого начала невозможно, потому что «оно ускользает от самого острого наблюдения». Гельвеций наделял всю материю чувствительностью, видел в этой чувствительности такое же неотъемлемое свойство ее, как и движение. Следовательно и здесь он не видел нужды в боге, который наградил бы материю чувствительностью, т. е. душой. И, чтобы у читателя не оставалось никаких сомнений на этот счет, он в примечании объясняется следующим образом: «В самом деле, что означает слово «бог»? Еще неизвестную причину порядка и движения. Что же сказать о неизвестной причине?» Когда богослов наблюдает движение светил и заключает, что какая-то сила их движет, он уже не богослов тогда, а просто физик или астроном. «Несомненно, говорят образованные китайцы, что в природе существует могущественное и неведомое начало всего сущего, но обожествлять это неизвестное начало... значит обожествлять человеческое неведение»⁹⁰. Я не согласен с китайцами, с улыбкой говорит Гельвеций, вероятно и китайцев-то выдумавший, чтобы отвести от себя обвинение в атеизме.

Осторожность в выражениях и недоговоренность здесь остается конечно, но это было неизбежно при тогдашних условиях. «Со временем люди научатся отличать то, что мы

думали, от того, что мы писали», — сказал Дидро. Этого не следует забывать при толковании Гельвеция. Он атеист, но, чтобы избежать обвинения в атеизме, он доходит до того, даже, что отрицает самую возможность атеизма вообще.

«Нет просвещенного человека, который не признал бы, что в природе существует некая сила, и следовательно он не атеист. Тот, кто говорит, что движение — это бог, не атеист, потому что на самом деле движение непонятно, потому что ясных представлений о нем не имеется, потому что оно проявляется только в своих действиях и наконец потому что во вселенной все происходит только через него. Не атеист и тот, кто, наоборот, говорит, что движение — не бог, потому что движение не существо, а способ существования. Не атеисты и те, которые утверждают, что движение присуще материи, которые рассматривают его, как невидимую и движущую силу, разлитую во всех частях материи...» И, подчеркивая свою мысль, Гельвеций восклицает: «Кто может отрицать, что движение присуще всем телам и является причиной всего сущего?»⁹¹.

Итак, «физического бога» стричь нельзя: «он есть причина всего сущего, и эта причина неизвестна». Дадите ли вы этой причине имя «бога» или какое-нибудь другое, Гельвеций об этом не заботится. Он просто улыбается вашей глупости, вашей склонности заниматься пустяковым пустословием. Как де-Лаланд, один из его последователей, он на ваши указания, что в солнце, луне и звездах надо видеть проявление верховного существа, отвечает: «Я вижу, что есть солнце, луна и звезды и что вы — дурак». «Нужно быть идиотом, чтобы верить в бога», — говорили, по словам того же де-Лаланда, атеисты, с которыми он жил, в том числе и Гельвеций. «Что за метафизика!» — вежливее выразился Гельвеций в своем примечании к тому месту «Духа законов», где Монтескье, высказав свое отрицательное отношение к материалистическому объяснению, взыгает к «первоначальному разуму», т. е. к богу.

Но если для Гельвеция вопрос о существовании физического бога только пустое словопрение, то совсем иное дело, говорит он, бог нравственный. «Та противоположность, какая всегда обнаруживалась между земной справедливостью и небесной, часто заставляла отрицать его существование. Впрочем говорили: что такое нравственность? Собрание тех условных соглашений, которые люди заключали между собой, вынужденные к этому своими обиодными потребностями. Как же из сотворенного людьми делать бога?»⁹² «Что

остается заключить из этого странного рассуждения? — спрашивает Дамирон, один из самых враждебных Гельвеции философов первой половины XIX века. — Что нравственного бога не нужно и что есть только бог-природа или, еще проще, материя и движение как начало и основа вещей»⁹³. И такова, действительно, мысль Гельвеция, совершенно ясная и бесспорная, но которую упорно не желали видеть многие.

2. Борьба за политическую и социальную реформу

Наряду с борьбой против религии в этой книге особенное внимание обращает на себя борьба за лучшее государственное и общественное устройство. Здесь Гельвеций — и моралист, и политик, и социальный реформатор. Он не связан никакими предрассудками и не боится никаких разрушений, никаких выводов.

Но, прежде чем остановиться на этой стороне его взглядов, проследим те положения, которые лежат в их основе.

Как и в своей книге «Об уме», он здесь продолжает настаивать и всячески это доказывает, что физическая чувствительность является единственной причиной человеческих поступков, мыслей, страстей и всей общественной жизни вообще.

Каковы же общие причины духовного неравенства и интеллектуальных различий у людей? Первая причина — это различное сцепление событий, обстоятельств и положений, влиянию которых на своем жизненном пути подвергаются различные люди. Это — то, что Гельвеций называет случаем. Вторая причина лежит в страстиах, приводящих в движение одинаковую способность людей к умственному развитию и являющуюся без этого оплодотворяющим элементом мертвым капиталом.

Предрасположение к страстям у нормальных людей, так же как и предрасположение к уму, бывает одинаково сильным. Разница, наблюдающаяся в этом отношении между ними, всегда является последствием различия испытываемых ими внешних влияний. Характер каждого человека, как это замечено было уже Паскалем, есть лишь результат его первых привычек.

Из чувства себя любия Гельвеций выводит все социальные чувства и страсти. Чтобы дать более ясное представление об остроте и силе анализа нашего автора, о его полной несвязанности какими бы то ни было предрассудками, о его

стремлении добиться истины, хотя бы для этого пришлось разрушить сладкие мечты об идеальном и возвышенном в человеке, остановимся на его анализе правосудия, справедливости вообще. Это представляет интерес также и потому, что анализы Гельвеция, благодаря их отрицательным тенденциям, содействовали его антирелигиозной пропаганде.

Каждый любит справедливость в других, потому что он хочет беспрепятственно наслаждаться своей собственностью. Но что может заставить его желать быть справедливым в отношении других! Любят ли справедливость ради нее самой? Между поведением и словами людей столько противоречий. «В морали, как и в религии, мало добродетельных и много лицемеров. Тысячи людей украшают себя чувствами, которых они не имеют и не могут иметь. Сравнивая их поведение с их речами, мы находим в них лишь мошенников, желающих одурачить других... Есть люди, которые в самом деле бывают добродетельными с того момента, когда поднимается занавес и они начинают играть роль на сцене этого мира. Но сколько из них сохраняют ту же честность и продолжают оставаться справедливыми, когда снимают парадный костюм?» И дальше Гельвеций показывает нам дикаря, первобытного человека. Он преклоняется не перед справедливостью, но перед силой. В его языке нет даже слов, которыми можно выразить понятие справедливости. Почему? Несправедливость — это нарушение условия или закона. Сначала следовательно должны существовать общий интерес, условие, закон, а это предполагает более или менее развитое общество с языком, достаточно богатым понятиями. «Справедливость предполагает установленные законы; соблюдение справедливости предполагает равновесие в силе и власти между гражданами. Поддержание этого равновесия есть высший плод науки законодательства. Только страх — взаимный и плодотворный, заставляет людей быть справедливыми в отношении друг к другу». Когда Дидро прочел эти строки, он выразил большое сомнение. Мысль Гельвеция даже ему показалась слишком смелой и разрушительной. Он назвал ее «речью в защиту силы». Он полагает, что у дикарей есть «первобытный закон, характеризующий поступки» и лежащий в основе законов писанных. Человек не животное, говорит он. Дидро-философ не понял Гельвеция-социолога. Гельвеций в своем анализе происхождения человеческих чувств, понимая человеческие чувства как общественные, спустился до той ступени, на которой животное изолированное превращается в животное общественное, способное

выносить нравственные оценки собственных поступков и поступков других людей.

Любовь человека к правосудию! — насмехается дальне Гельвеций. — А возвысьте-ка любого человека превыше всякой надежды на новое возвышение, усадите его на какой-нибудь трон Востока. Что он будет делать? Он будет вести себя, как всякий восточный деспот. «Любовь человека к справедливости основана или на страхе перед несчастьями, сопровождающими несправедливость, или на надежде на блага, сопутствующие почету,уважению, или на распоряжениях власти, связанных с проведением в жизнь справедливости».

В отношении народов дело обстоит совершенно так же. Они соблюдают договоры, пока боятся друг друга, пока между ними существует равновесие силы. Нарушится это равновесие, — и государство более сильное бесстыдно нарушает свои обязательства. «Пресловутое уважение людей к справедливости всегда бывает в них лишь уважением к силе». Всякий желает достигнуть власти, хотя и знает, что почти невозможно быть одновременно всегда справедливым и могущественным. Воспитание может лишь смягчить злоупотребление властью. Но какое бы счастливое воспитание ни получил власть имущий, он все-таки совершает несправедливости. «Злоупотребления связаны с властью, как действие связано с причиной».

Можно ли отсюда сделать вывод к анархии, к безвластию, как единственной «справедливой» форме общественного бытия людей? Пожалуй, да. Но сам Гельвеций до этого вывода не доходил. Он рассуждал так. Любовь к власти при всяком виде правления является единственной силой, направляющей человеческие поступки. Ни единонаучальное управление, т. е. монархия неограниченная, ни ограниченная монархия или олигархия, при которых власть находится в руках некоторого числа людей, не представляют идеальной формы правления. Деспот имеется налицо и в первом и во втором случае. Во втором случае сословие дворян является этим деспотом. «Стремление этих дворян — держать народ в бедности, в постыдном и бесчеловечном рабстве». При этих двух образах правления совершенно невозможно, чтобы любовь к власти создавала справедливых людей и хороших граждан.

И Гельвеций рисует нам демократию: «Верховная власть в государстве равно распределена между всеми сословиями граждан». Нация, сделавшись деспотом, стремится к благу

большинства. Всякий поступок, соответствующий этому благу, интересу большинства, является справедливым и добродетельным. Любовь к власти побуждает граждан любить справедливость и поощрять развитие талантов.

Дальнейших выводов Гельвеций не делает. До уразумения принципа диктатуры большинства он еще не дорос. Его демократия, хотя он ее выводит из интереса большинства, все-таки демократия буржуазная, таящая в себе, хотя и под фиговым листком всеобщности, олигархическую власть. Между прочим необходимо обратить внимание на то, что Гельвеций был сторонником федеративного устройства государства. Он высказывает за разделение страны на некоторое число маленьких республик, самоуправляющихся в области своих внутренних дел, но посылающих делегатов в верховный совет, занимающийся вопросами общей политики.

Таким образом идеал Гельвеция — демократическая федеративная республика. Но он идет дальше и намечает некоторые реформы социального характера.

Счастье индивидуумов, являющееся основой благополучия нации, не такая уж несбыточная вещь. Разумные законы без всякого труда, наивно думает он, могли бы совершить это чудо. Если у всех граждан есть некоторая собственность, если все они в известной мере зажиточны и семичасовым или восьмичасовым трудом могут заработать больше, чем необходимо для удовлетворения собственных потребностей и потребностей их семейств, то они настолько счастливы, насколько это возможно.

Совершенно неправильно утверждение, что для того, чтобы большинство людей были одинаково счастливы, нужно, чтобы все были одинаково богаты и могущественны. Из двадцати четырех часов дня десять или двенадцать уходят на удовлетворение основных потребностей — голода, жажды, половой потребности, сна и т. д. Удовлетворение этих потребностей дает одинаковое счастье всем, от торговца кроличими шкурками до царя. Что касается остальных десяти-двенадцати часов, то обычно люди посвящают их труду, т. е. приобретению денег, необходимых для удовлетворения потребностей. Праздные богачи, правда, ничего не делают. Но счастливее ли они оттого? Гельвеций сомневается в этом. Он не знает, что хуже — труд или скука, связанная с бездельем. Обычно труд считается злом лишь потому, что в большинстве государств приходится черезмерно тру-

диться, чтобы добыть необходимое. Сам по себе труд не является злом. Если он для нас привычный труд, не слишком утомляет, то он — благо. Человек, занятый привычным трудом, счастлив: он получает удовольствие, когда работает в своей области. Во время работы он испытывает удовольствие, предвидя удовлетворение своих потребностей. Вельможа и богач этого удовольствия не знают, их грызет скука, они, катаясь в своих каретах, подобны белке в колесе. Труд, вообще говоря, есть самое приятное использование времени, не занятого непосредственно удовлетворением потребности или чувственными наслаждениями. Здесь речь идет не о чрезмерном труде и не о людях, находящихся в нищете, оговаривается еще раз Гельвеций. Если люди могут быть равны в счастье, не будучи равны в богатствах и достоинствах, то почему же государства полны несчастных людей?

Когда Дидро прочел эту главу, он не мог удержаться от выражения сомнения: «Я боюсь, — написал он⁹⁴, — что тут немножко больше поэзии, чем правды. Я с большим доверием отнесся бы к наслаждениям рабочего дня плотника; если бы мне говорил об этом сам плотник, а не генеральный откупщик, руки которого никогда не испытывали твердости дерева и тяжести топора... Может быть, очень приятно быть плотником, или тесать камень, но, откровенно говоря, не хочу я этого счастья даже с прибавкой при каждом ударе приятной мысли о той плате, которая ожидает меня в конце моего рабочего дня».

В ближайшей главе, говоря «о причинах несчастий почти всех наций», Гельвеций вносит больше точности и ясности в свою мысль.

Несчастье людей и народов зависит от несовершенства их законов и слишком неравного распределения богатств. В большинстве стран «существуют лишь два класса граждан: класс, который не имеет необходимого, и класс, который утопает в избытках. Первый может удовлетворять свои потребности лишь чрезмерным трудом. Этот труд является для всех физическим злом, для некоторых же он — пытка. Второй класс живет в изобилии, но также и в страданиях скуки». Он снова указывает, как исправить это зло: уменьшить богатства одних, увеличить богатства других, поставить бедняка в такие условия, чтобы семи-восьмичасовым трудом он с избытком покрыл потребности. Но возможна ли такая «социальная реформа»?

Гельвеций не апеллирует к революции, к восстанию угнетенных против угнетателей. Он заботится не об одних только

бедняках, но и о богачах, пожиравших «скукой». Реформа должна притти сверху, быть дарована народу, и осуществима она лишь путем «непрерывных и незаметных изменений». В каком из государств Европы можно осуществить это? — задает он сам этот вопрос, и все значение его мы поймем, если вспомним, что представляла собой Европа XVIII в. Конечно он не может ответить на этот вопрос. «Но зачем отчаяваться в будущем счастье человечества?» «В строении всех государств изо дня в день совершаются изменения, которые доказывают, что возможность этого не есть, во всяком случае, платоническая мечта».

Гельвеций не был революционером в нашем смысле слова, да и в то время, за двадцать лет до французской революции, таких революционеров и не могло еще быть. Но он, как и все его соратники, был воодушевлен стремлением к социальной справедливости, он расчищал путь для революционных идей, он подготовлял почву. В посвященных К. Марксом Гельвецию строках эта его огромная заслуга подчеркнута с полной ясностью.

Заключительная часть книги снова посвящена вопросу воспитания. «О могуществе образования» — так и озаглавлена она. «Воспитание может все» — любимый конек Гельвеция. Воспитание делает нас такими, каковы мы в действительности. Обильные примеры подтверждают это положение. Каждое общественное положение имеет свою особую психологию, объясняющуюся в основных чертах воздействием среды.

Гельвеций горячий приверженец общественного воспитания, противополагаемого домашнему.

Самое воспитание Гельвеций делит на физическое и нравственное. Физическому воспитанию он придает огромное значение и желает его постановки под руководством опытных и просвещенных врачей и хирургов.

На пути усовершенствования нравственного воспитания людей стоят большие препятствия. Первым из них Гельвеций называет «интерес священника». Священнику нужна абстрактная (отвлеченная) мораль, которая в его руках может употребляться для противоположных часто целей. Второе препятствие — это несовершенство большинства правительств. «Во всякой стране, где добродетель ненавистна власть имущим, одинаково и бесполезно и безумно стремиться к образованию честных граждан». Отсюда следует, что реформа воспитания неизбежно предполагает реформу в законах и форме правления.

Здесь Гельвеций опять останавливается в бессилии: он не видит выхода. Окружающая его обстановка и собственное его общественное положение отталкивают его от естественного, прямого вывода — насильтственного изменения этой гибельной формы правления, от революции. И он топчеться на одном месте и возлагает утопические надежды на то, что «народ испытает великие несчастья, страшные бедствия, а счастливое и необычайное стеченье обстоятельств даст почувствовать государю всю необходимость реформы». Не надо только отчаяваться: когда-нибудь истины, которые открывают философы, воссияют над миром и окажутся полезными для человечества. Не обвиняйте философов в бессилии. Они — архитекторы, составляющие проекты. Не их дело осуществлять эти проекты.

И мы должны понять Гельвеция. Он свое дело сделал. Если бы он видел, что есть что-либо более радикальное, он сделал бы и это. Его беда была в том, что он не видел и не мог видеть. Он сам говорит, и, слушая его, вы чувствуете, что он понурил голову и разводит руками: «Только реформа образа правления. Но как заставить народы согласиться на эту реформу, как дать им понять все пороки их законов? Что делать, чтобы прозрели слепцы? Я знаю, что можно просветить людей книгами. Но большинство не умеет читать. Их можно просветить еще проповедью. Но власть имущие запрещают проповедывать против пороков, наличность которых, по их мнению, полезна им».

Основанная на интересе «низменная» мораль Гельвеция часто подвергалась строгому осуждению. Именно то, что в наших глазах выдвигает его из среды его современников, его стремление рассматривать нравственность научно и следовательно антирелигиозно, как вывод из «физической чувствительности» человека, и ставить ее развитие в зависимость от общественной среды и вызывало гнев и возмущение у сторонников морали, основанной на откровении божием, на прирожденном человеку чувстве различия добра и зла и тому подобных «высоких принципах».

Выводя всю духовную жизнь человека из физической чувствительности, из возбудимости, Гельвеций в личном интересе, в себялюбии нашел основание нравственных понятий людей. Поднимаясь от отдельного человека к группе — семье, сословию, он от «малого общества» доходит до государства. Всюду он находит, что поступки людей определяются интересом, причем различное понимание этого интереса зависит от связи человека с тем или иным коллективом.

Понятия, характеризующие поступки, зависят от понимания своего интереса той средой, в которой они складываются. Задача моралиста заключается в указании условий, при которых личный интерес и интерес общественный гармонично сочетаются в направлении достижения наибольшего возможного блага для индивидуума. Осуществление этих условий — дело законодательства, политики.

Мораль Гельвеция, это — та мораль, которая обозначается названием утилитаризма, т. е. которая имеет в своей основе принцип пользы.

По мнению Гельвеция, «наука законодательства» должна притти на помощь морали для установления такого общественного порядка, при котором возможно достижение поставленных моралистом задач. Значит, законы произвольны в том смысле, что просвещенный моралист может придумать самые лучшие и провести их в жизнь? Да, такова была мысль Гельвеция, и в этом отношении он впадает в общий грех всех просветителей. Он был чужд диалектики. Он обычно выхватывал явления из их связи, отрывал их от того процесса непрерывного движения и изменения, в котором находятся все явления, в том числе и явления общественной жизни, и рассматривал их в застывшем, набальзамированном виде. Но надо вспомнить, что диалектический метод был развит гораздо позже и развит в идеалистической философии, чтобы затем уже найти себе полное и плодотворное применение в философии марксизма, в диалектическом материализме. Материализм же Гельвеция и его современников был материализмом метафизическим, иным он и не мог быть. Надо заметить впрочем, что некоторые элементы диалектики, как показал это Плехалов, у нашего философа были и часто прорывались, подводя его вплотную к правильному пониманию явлений.

Он «проговаривается между прочим и насчет законов и приближается к классовому объяснению их. Говоря например о последствиях размножения членов общества и связав с этим размножением обеднение большинства, он видит, как уменьшается заработка плата, уменьшается число собственников, и, когда неимущие составляют большинство нации, законы становятся все более суровыми. Отношения собственности определяют направление и характер законов.

Понятия «интерес», «потребность», «польза» сослужили Гельвецию большую службу. Они в некоторой степени сглаживают у него несовершенство метода. Надо еще принять во внимание, что свой детерминизм, т. е. учение о полной за-

вимости человеческой воли от среды, он старался перенести во все области. И поэтому мы часто у него встречаем такие высказывания, как: «законы, нравы народов зависят от физических причин», «необходимое сцепление физических причин», влияющее на «причины нравственного порядка» и т. п.

Все народы, находящиеся в одном и том же положении, имеют одинаковые законы, обычаи, культуры. Это объясняется одинаковым уровнем потребностей. Потребности определяют развитие в человеческом обществе земледелия, производства благ. Влияние климата, внешней среды оказывается на потребностях и через них отражается в нравах, обычаях и т. д.

У Гельвеция есть своя социология, т. е. учение о законах развития человеческого общества. Вернее у него несколько таких теорий. Теория договора, соглашения, господствовавшая в то время, занимает у него большое место. Люди, поняв интерес жить в обществе, сговорились. Сговорившись, установили законы. Дальше появилась собственность как результат права сильного. Отсюда неравенство и все прочие общественные язвы. Эта теория сыграла большую роль, уничтожив представление об общественном неравенстве, как извечном, предустановленном, непреодолимом принципе. Она питала политические и государственные теории французской революции. Но научного достоинства она не имеет.

Другая теория, намечающаяся у Гельвеция, более научна, менее метафизична. Это его «робинзонада». Здесь он искусственно помещает несколько семейств на необитаемый остров и показывает, как постепенно развивается земледелие, ремесла, промышленность. Появляются классы, вырастают все пороки, связанные с крайней нищетой, находящейся в вопиющем противоречии с чрезмерным богатством. Увеличивается преступность, являющаяся исключительно социальным явлением.

Здесь он уже улавливает роль классовой борьбы. В ней он видит естественный, т. е. не зависящий от воли людей, фактор. Но он отрицательно относится к ней, так как не видит ее движущей, положительной роли в развитии общества. Да и как мог он понять это в XVIII в., когда сама буржуазия не осознала еще себя как класс, а пролетариат, рост и развитие которого несет с собой уничтожение всех классов, был еще в младенчестве.

Взгляды Гельвеция шли дальше, чем это диктовалось

потребностями его класса. Самые передовые из философов строили свою мораль и политику на природе, на гранитном и незыблом, по их мнению, фундаменте. Он же строил на интересе, вечно меняющемся и преходящем. Благодаря этому его теория не оставляла места для абсолютной, раз навсегда данной морали и для неизменных законов. А такие неизменные законы стремились установить все просветители, потому что они «представляли идеальное выражение общественных и политических стремлений буржуазии»⁹⁵. Естественно, что даже такие крайние материалисты, как Дидро, возражали против теории Гельвеция. Плеханов указывает также, что взгляды его угрожали распространенной среди философов XVIII в. теории, что «миром управляет мнение», так как Гельвеций доказывал, что мнения диктуются не зависящими от воли людей интересами. Но окончательно оторваться от господствующего взгляда он не смог.

Несмотря на все смелые и замечательные усилия своего ума, Гельвеций не мог выйти далеко за рамки фактов и знаний своей эпохи, за рамки классовой буржуазной идеологии. Но исторически взгляды Гельвеция были прогрессивны. «Не требуется большого остроумия,— писали Маркс и Энгельс в «Святом семействе», — чтобы усмотреть связь между учением материализма о прирожденной склонности людей к добру, о равенстве умственных способностей людей, о всемогуществе опыта, привычки, воспитания, о влиянии внешних обстоятельств на человека, о высоком значении индустрии, о нравственном праве на наслаждение и т. д. — и коммунизмом и социализмом». А именно эти идеи пропагандировал Гельвеций,

Заключение

Мы проследили жизнь и литературную деятельность Гельвеция и видели, как он вместе с другими мыслителями своего времени готовил в умах общественный и государственный переворот, положивший конец феодализму и открывший путь буржуазно-капиталистическому строю.

Идеи смелого мыслителя воплотились отчасти в теориях французской революции. Знаменитая «Декларация прав человека и гражданина», когда ее сравниваешь с некоторыми страницами книг Гельвеция, так и кажется написанной под непосредственным их впечатлением.

Память о нем поддерживалась его женой, сплотившей вокруг себя небольшой круг революционных мыслителей, из которых Вольней и Кабанис были наиболее выдающимися его продолжателями. Эта замечательная женщина, достойная подруга философа, «в пожилом возрасте, в возрасте отдыха и покоя, с радостью приняла французскую свободу, несмотря на бури, ее сопровождающие, она без сожаления видит, как ее единение часто нарушается общественными тревогами, и полна единой мыслью о тех благах, которые грядущие поколения должны получить из нынешних наших бедствий». Так определялось отношение Анны Гельвеций к революции в 1792 г. в петиции к Парижской коммуне о переименовании улицы св. Анны в улицу Гельвеция⁹⁶. Таким же вероятно было бы и отношение к революции самого философа.

Однако из выдающихся деятелей революции непосредственно им вдохновлялись немногие. Пожалуй, Мирабо еще мыслил в философии сочувственно ему. Но Марат и Робеспьер были враждебны его теориям.

Еще в 1775 г. Марат в своей книге «О человеке, или о принципах и законах влияния души на тело и тела на душу» обрушивается на «софиста Гельвеция». Марат — ученик

Руссо. Атеизм и материализм Гельвеций не внушили ему ничего кроме отвращения; его разрушительная критика «священных» понятий добродетели, чести, дружбы и т. д., объяснение их интересом и пользой, будущему трибуну казались только «софизмами».

Робеспьер, учредитель культа «верховного существа», не меньше Марата не любил атеиста Гельвеция. Общество якобинцев обладало бюстом Гельвеция, поднесенным ему поклонниками философа с целью прославить имя его, как предшественника этих самых якобинцев. Но не ужилось изображение мирного философа в среде пламенных революционеров. На одном заседании Робеспьер взял слово и воскликнул, указывая на бюсты, украшавшие зал заседаний: «Я вижу здесь только двух людей, достойных нашегоуважения: Брута и Жан-Жака Руссо. Мирабо должен пасть. Гельвеций должен также пасть. Он — интриган, жалкий верхогляд, один из самых жестоких преследователей этого доброго Руссо, самого достойного наших почестей». Буря одобрения приветствует эти слова. Бюсты снимаются, их разбивают, и каждый стремится выразить им свое презрение.

Чем больше склонялась революция к своему закату, тем меньше друзей находил в ней Гельвеций, пока Наполеон наконец не вычеркнул его имя из списка великих людей⁹⁷.

Но если влияние Гельвеция, сказавшись в духе революции, в делах ее сколько-нибудь значительно не проявилось, то его влияние в различных областях знания не было столь незначительным. Продолжатели философии XVIII в., так наз. «идеологии», в большей или меньшей степени вдохновлялись его идеями и развивали их дальше. Беккариа в Италии, Бентам в Англии — два основателя гуманного направления в науке уголовного права — были непосредственными учениками Гельвеция, причем Бентам, взгляды которого прямо исходят от него, развил далее его мораль, которая получила название утилитаризма и нашла еще более полное выражение у Стюарта Милля.

«Ах, две души жили в нем, — говорил Г. В. Плеханов о Гельвеции, — как в Фаусте и как в буржуазии, наиболее передовыми представителями которой были материалисты XVIII века». Две души, одна из которых держала его смелый ум на привязи ограниченных интересов его класса, а другая вела его на горные вершины, откуда открывались перед ним широкие, заманчивые горизонты будущего. Отсюда его противоречия, в этом его слабость.

В нашем изложении мы подробно останавливались как на тех сторонах мировоззрения Гельвеция, которые делают его близким и понятным нам, так и на тех, в которых он далеко отстал от нас и в которых он чужд нам. Оценивая наследие Гельвеция, как и остальных французских материалистов, не следует забывать того, что, как говорил Энгельс, «требования, которые защищало третье сословие в своей борьбе с дворянством, в общих чертах действительно соответствовали интересам слоев трудящегося населения того времени» и что философы, «просветившие французские головы для приближавшейся революции», для своего времени, в своей исторической обстановке были «крайними революционерами».

Но с другой стороны мы знаем, к чему привела французская революция, и что вытекло из принципов философов XVIII в., из их проповеди царства разума, вечной справедливости, прав человека. «Мы знаем теперь, что это царство разума было не чем иным, как идеализированным царством буржуазии; что вечная справедливость осуществлялась в виде буржуазной юстиции; что естественное равенство ограничилось равенством граждан перед законом, а существеннейшим из прав человека было объявлено право буржуазной собственности. Разумное государство и «общественный договор» Руссо оказались и могли оказаться на практике только буржуазной демократической республикой. Мыслители XVIII в., как и все их предшественники, не могли выйти за пределы, которые ставила им тогдашняя эпоха»⁹³.

Для своей эпохи Гельвеций был революционером, и почти все выраженные им взгляды и теории были крайними и разрушительными, были нужными и полезными, были действенными, потому что были прямо в сердце той мишени, которую поставила перед ним и его соратниками действительность той эпохи.

Для нас же это прошедшая ступень. Но в то же время для нас это та страница истории, пройти мимо которой мы не можем, изучить которую мы обязаны.

Именно у Гельвеция мы находим тот «самый разнообразный материал по атеистической пропаганде», который столь необходим всегда для массовой работы. Да и самая история преследований, которым он подвергался со стороны всех видов поповства, чрезвычайно поучительна и ярко иллюстрирует роль религии и церкви в эпоху утверждения буржуазного общества.

Конечно мы теперь знаем, что в классовом обществе «кор-

ни религии главным образом социальны», что «никакая просветительская книжка не вытравит религии из забытых капиталистической катогорией масс, зависящих от слепых разрушительных сил капитализма, пока эти массы не научатся объединенно, организованно, планомерно, сознательно бороться против этого корня религии, против господства капитала во всех формах», что борьбу с религией «надо поставить в связь с конкретной практикой классового движения, направленного к устраниению социальных корней религии»⁶⁹. И мы не только знаем эти указания Ленина, но и неуклонно проводим их в своей антирелигиозной борьбе, всецело подчиняя интересам классовой борьбы пролетариата, интересам строительства социализма. Но мы знаем также, что «чураться союза с представителями буржуазии XVIII в., т. е. той эпохи, когда она была революционной, значило бы изменить марксизму и материализму». И Ленин не раз напоминает о совете Энгельса переводить для массового распространения боевую атеистическую литературу XVIII в. А Гельвеций среди атеистов XVIII в. занимает видное, почетное место.

Приложение

Идеи Гельвеция в России

Мы видели, что знаменитая книга Гельвеция встретила в России горячий прием и нашла себе поклонников. Слова французского посланника о том, что в Петербурге он заспал «русский ум занятым умом Гельвеция», если и преувеличение, то очень небольшое. Свидетельство этому мы имеем в двух письмах «президента С.-Петербургской академии», графа ***, напечатанных в сочинениях Гельвеция.

Горячим поклонником Гельвеция был кн. Д. А. Голицын, о неудачных переговорах которого с Екатериной об издании посмертного труда философа мы в своем месте упомянули. Этого русского вольнодумца прекрасно характеризует отзыв одного из его потомков, «истинно русского» человека, тоже князя Голицына¹⁰⁰: Д. А. Голицын «сблизился с Вольтером и Дiderotом и по молодости лет и восторженности характера увлекся их ученьем... Изыщный вкус его, свободомыслие воззрения, замечательные способности, образованность и научные труды сделали его близким другом и постоянным корреспондентом многих современных ему философов. Все это имело следствием, что кн. Д. А. Голицын, зарывшись тогдашим вольнодумством и безверием, в религиозном отношении сам стал вполне неверующим и атеем, каким и оставался до конца своей жизни».

Таким же повидимому неверующим и атеем был и вице-канцлер А. М. Голицын, через которого Екатерина вела упомянутую переписку. Он был высокого мнения о Гельвеции. Ознакомившись с книгой «О человеке» по оглавлению, сообщенному через него императрице, он в высшей степени заинтересован. «Сочинение сие, — пишет он, — кажется имеющим огромную занимательность, столь же по важности предметов, о коих идут в нем рассуждения, как и по славе сочинителя и его высшей силе в этой части человеческих знаний».

Вообще среди русских вольнодумцев из близких к двору кругов очень многие были известны как поклонники Гельвеция. Назовем еще кн. Гагарина. Известный Болотов в своих мемуарах¹⁰¹ рассказывает, что, посетив однажды престарелого князя, он «нашел его читающим французского известного безбожника Гельфеция (Гельвеция) книгу». «Старик сей, — характеризует он его, — был, по примеру многих, заражен до глупости вольтерианизмом и, находясь при дверях самого гроба, не переставал обожать Вольтера, сего Гельфеция и других, подобных им, извергов и развратителей человеческого рода».

Но влияние Гельвеция в эту эпоху не ограничилось дворянскими верхами, либеральствовавшими и вольнодумствовавшими почти исключительно из моды и лишь до тех пор, пока Екатерина это поощряла. Не для них конечно был сделан перевод книги «Об уме» под заглавием «Дух Гельвеция», напечатанный в Тамбове в 1788 г. Это влияние распространялось и на людей, занимавших не столь высокие ступеньки сословной лестницы, и на людей, которым французский язык не был более знаком, чем родной. Конечно идеи Гельвеция очень часто и даже преимущественно сплетаются со всеми вообще идеями французского просветительства и должны быть включены в тот общий и довольно расплывчатый поток, который обозначается как вольтерьянство¹⁰². Но в отдельных случаях мы можем проследить его не только косвенно, но и прямо.

Кого захватывали эти идеи в екатерининской России, и насколько глубоким было это влияние?

На первый вопрос ответить не трудно. Во второй половине XVIII в. капиталистическое развитие сделало уже значительные шаги, и в строении общества замечаются значительные перегруппировки. Образуется тонкий слой разночинной интеллигенции, рекрутирующейся из детей однодворцев, чиновников старых приказов, обедневших дворян или разбогатевших купцов и промышленников. Дети духовенства часто покидали родную колокольню и занимали мелкие чиновничьи должности, подвизались в литературе, гувернерствовали, искали ученой карьеры. С этой разночинной интеллигенцией смыкался не менее тонкий слой интеллигенции дворянской. Среди этих сливок русского общества и находили себе более или менее благоприятную почву идеи буржуазного просвещения.

Другой вопрос, насколько глубокие корни на тощей русской почве могли пустить эти идеи. У русских людей XVIII в.

свободомыслие по самому характеру обусловливавших его общественных отношений отличалось поверхностностью и скороспелостью. Лишь в отдельных случаях новые идеи вызывали настолько глубокие изменения в психике их носителей, что они более или менее приближались к типу людей французского просвещения. Но эти изменения сначала были чисто индивидуальными и не могли целиком быть отнесены к какой-нибудь чисто русской групповой психике. Только в конце 80-х гг. в широких потоках вольтерьянства можно заметить наличие двух течений. Первое, воспитанное на Вольтере и Монтескье, остается чуждым всяkim действенным стремлениям; во втором уже наличествует революционное бродило и формируется стремление к изменению существующего порядка вещей. «Для прогрессистов 80-х гг., — говорит А. Веселовский¹⁰³, — авторитетами являлись уже не предтечи общественного движения XVIII в.— Вольтер, Монтескье, открывшие новые горизонты для предшествовавшего поколения русских интеллигентных людей, но Гельвеций, Мабли, Руссо». В лице декабристов, прямых наследников русского энциклопедизма, это второе течение сделало попытку революционным путем провести в жизнь свои взгляды.

Одним из самых интересных с занимающей нас точки зрения вольнодумцев был Г. И. Добринин, автор дошедших до нас замечательных записок о себе самом. Это — человек, начавший свою жизненную карьеру с должности архиерейского келейника, сын священника, самообразованием выработавший в себе трезвый взгляд на среду, к которой принадлежал, и серьезное понимание самых сложных проблем жизни. По его рассказу, он «с младчества» уже был знаком с Энциклопедией, хорошо знал Вольтера и других знаменитых французских писателей. Совершенно в их духе он иронизирует по поводу «священной» истории, издевается над религиозными суевериями. Несомненно под влиянием Гельвеция он рассуждает о себялюбии как основном законе жизни. «Не есть ли интерес, — говорит он, — под различными именами и видами, душа и связь всего мира, мира морального, натурального (т. е. физического. — И. В.) и политического?» В зрелом возрасте он с горячим сочувствием следит за событиями французской революции.

Не менее интересен другой вольнодумец и автор занимательных мемуаров о себе самом и русском обществе XVIII в. Г. С. Винский¹⁰⁴. Происходивший из мелкопоместного украинского дворянства, Винский «жил, гнил и погибал в низшем или среднем слое общества», как говорил А. И. Тургенев, из-

вестный собиратель материалов по русской истории. Это указание на его социальную принадлежность потому особенно ценно, что лишний раз показывает, как все-таки глубоко бороздила русскую жизнь просветительная философия.

Мы не можем установить, совершил ли Винский действительно те служебные преступления, по обвинению в которых он был сослан в Уфу и Оренбург. В своих записках он заверяет в своей невиновности, и, поскольку вся его личность располагает в его пользу, невольно хочется поверить ему на слово. Несомненно однако, что до ссылки он ничем особенно не отличался от той мелкослужилой среды, к которой принадлежал. Можно отметить только наличие чисто платонического интереса к литературе и некоторую дозу критического отношения к russким порядкам и нравам. В ссылке, избрав профессию домашнего учителя, Винский отдается чтению. От скучной русской литературы он переходит к французской, от русских переделок и переводов — к подлинным сочинениям вождей передовой Франции. И прежде всего конечно привлекает его к себе прославленное имя Вольтера. Он читает его, переводит и переводами делится со знакомыми. Неожиданный для него самого успех этой пропаганды, похвалы и благодарность возбуждают тщеславие или, как он сам говорит, славолюбие и подстегивают к новым подвигам на этом поприще. Старик Вольтер скоро перестает удовлетворять его. Случайно он наталкивается на сатирическую утопию Себастиана Мерсье «2440 год». Винский недаром полюбил «сего смелого сочинителя, твердого поборника истины и неустрашимого защитника прав человечества». В известной степени Мерсье все эти эпитеты заслуживает, а неискушенному в философии русскому читателю он несомненно должен был открыть новые горизонты. Хотя дальше деизма в своей критике религии он и не идет, но во всех положительных религиях видит жесточайший бич человечества. Ненавистью к деспотизму и сословным привилегиям он также отличался и вслед за Гельвецием проповедывал новую нравственность, основанную на истинном познании человека и общественной среды. За Мерсье Винский знакомится с другими философами, «ему соответствующими». Он их не называет, но не приходится сомневаться, что Гельвеций среди них занимает одно из первых мест.

В собственных мыслях Винского, во множестве рассеянных в его мемуарах, мы постоянно наталкиваемся на мысли, точно списанные из книг Гельвеция. Например он развивает то положение, что «человек ничего не имеет врожденного»

и что «воспитание одно есть отличительная принадлежность человека». Мотив из Гельвеция также — его идея, что родительский авторитет не может основываться на голом факте родительства, но должен опираться на воспитание, которое следует строго отличать от научения.

От Гельвеция заимствована мысль об исключительной роли общественного воспитания, непременным законом утвержденного и основанного на чистой, т. е. преподанной философами и чуждой религиозной морали, нравственности. То же и относительно воспитательного, в широком смысле слова, значения законов: «законы должны быть пополнением и доказательством нравственности, внушенной воспитанием». И наконец, совершенно как безбожные «философы», как тот же Гельвеций, как Дидро, как Гольбах, отвечает Винский на вопрос: можно ли целый народ воспитать, т. е. внушить ему правила нравственности? «Ясные и простые правила естественная нравственности, — говорит он, — гораздо легче для понятия, нежели догматы и заповеди духовные (т. е. религиозные. — И. В.), которых не только поучающиеся, но и сами поучающие, по совести, не понимают».

Антирелигиозное настроение Винского из приведенных слов явствует с полной очевидностью. Не только религиозные догмы, но и самые заповеди он отвергает, как непонятные и противоречащие «чистой» морали. Его выпады против злочинств «проклятой поповщины» показывают, что и церковная организация имела в нем непримиримого врага. И тем не менее, говоря о способах «завести в народе добрые нравы», он находит, что для этой цели «весма выгодно употребить священников». Им нужно только дать в руки «catechisis чистая нравственности» и заставить наставлять по нему на проповедях своих прихожан, проверяя затем достигнутые результаты при исповеди. Впрочем и эта «блестящая» идея могла быть заимствована русским вольнодумцем у кого-нибудь из его французских учителей, может быть, у того же Гельвеция, который, как мы видели, не только сочинял катехизисы, но и духовенство хотел превратить в чиновников государства.

Как и Добрынин, Винский с великой надеждой встретил французскую революцию. Ее политически бесславный конец пережил он с горечью и глубоким сокрушением. «От событий революции надеялись мы — говорит он о себе и своих единомышленниках, — спасения, счастья человеческому роду, но, увы! все сие... восприняло новый вид, или лучше: древнейшие рода человеческого врага — самовластие и сует-

верие, переменив только одеяние и речь, возложили снова через безумных честолюбцев оковы рабствования, еще тягчайшие прежних, на выи глупой черни». С глубоким пессимизмом относился он и к русской действительности первого десятилетия XIX в. и, что особенно замечательно, нисколько не был обольщен красивыми фразами Александра I.

Ни Добрынин, ни Винский не могут быть отнесены к представителям левого фланга русских вольнодумцев, потому что заимствованное ими новое мировоззрение не перерастало у них в сколько-нибудь определенное стремление изменить, переделать русскую действительность. Такого рода стремления мы находим у Радищева и у его ближайших друзей. История их политического развития приводит нас прямо к Гельвецию.

В 1789 г. Радищев издал в Петербурге книгу «Житие Федора Васильевича Ушакова с приобщением некоторых его сочинений»¹⁰⁵, служащую драгоценным источником для изучения истории взглядов Радищева и его товарищей, студентов Лейпцигского университета, и в то же время бывшую косвенно одним из источников ознакомления русского общества с Гельвецием.

Эта русская молодежь была послана правительством за границу для обучения наукам, необходимым для будущих судебных деятелей. Самым выдающимся среди них был Ушаков, очень быстро подчинивший своему влиянию всех товарищей, в том числе будущего своего биографа и знаменитого русского радикала Радищева. Ушаков еще и до заграницы отличался «твердостью мыслей и вольным оных изречением», а попавши в Лейпциг и не удовлетворяясь усвоением официально преподаваемых предметов, с большим увлечением отдается и «другим частям учености». Счастливый случай сводит его с каким-то русским вельможей Ф., остановившимся в Лейпциге во время своего путешествия по государственным делам. «Ф. присутствием своим в Лейпциге и обхождением с нами, — рассказывает Радищев, — возбудил... во всех нас великое желание к чтению, дав нам случай узнать книгу Гельвециеву о Разуме. Ф. толикое пристрастие имел к сему сочинению, что почитал его выше других, да других, может быть, и не знал. По его совету Федор Васильевич и мы за ним читали сию книгу, читали со вниманием и в оной мыслить научалися. Лестна вся кому сочинителю похвала иногда и невежды, но Гельвеций, конечно, равнодушно не принял, узнав, что целое общество юношей в его сочинении мыслить училося¹⁰⁶. В сем отноше-

нии сочинение его немалую может всегда приносить пользу».

Таков отзыв самого Радищева о книге Гельвеция и косвенное признание того, что он по ней учился мыслить. И не только учился мыслить, но и усваивал многие его мысли. Ибо хотя по своим философским взглядам Радищев не может быть назван прямым учеником Гельвеция (слишком сильную идеалистическую закваску оставил в нем Лейпцигский университет), но в его сочинениях легко проследить многие взгляды Гельвеция, что заметил уже Пушкин¹⁰⁷.

Ушаков в своих письмах «О разуме», посвященных книге Гельвеция и адресованных тому самому Ф., который «извлек душу его из бездействия и уныния»¹⁰⁸, говорит:

«Вы вселили в меня неутомимое рвение к исследованию всех полезных истин и отвращение непреоборимое ко всем системам, имеющим основание в необузданном воображении их творцов, и мерзение к путанице высокопарных и звонких слов, коими прежде сего я отягчал память мою. Но сколь велика должнаствует быть наконец моя признательность за то, что от вас познал я удивления достойного сочинителя, коего книгу вы благоволили прочесть со мною? После того я три раза читал ее со всевозможным вниманием и для того только воздерживаюсь хвалить его, что я уверен совершенно, что хвалить такого мужа, как есть сей, должен только тот, кто сам заслужил уже похвалу».

Ушаков не всегда соглашается с Гельвецием. В частности материализм последнего, основывающийся на чувствительности как всеобщем свойстве материи, отталкивает его. В возражениях Ушакова мы ясно видим ослиные уши лейбницевой духовной монады. Идеализм преподносился тогда в немецких университетах, а юный гельвецианец был еще слишком мало начитан в материалистической философии. Если бы преждевременная смерть не подкосила этой многообещающей жизни, мы не сомневаемся, он сумел бы избавиться от этого идеализма и получить к нему такое же «мерзение», какое он уже чувствовал к прочим «высокопарным и звонким словам». Во всяком случае гельвецианские мотивы весьма сильны в его немногих сочинениях, опубликованных Радищевым.

Это особенно видно в сочинении «О праве наказания и о смертной казни». Смертное наказание нужно ли и полезно ли в обществе? — спрашивает он и отвечает решительным и е т. Наряду с другими аргументами мы встречаем следующий, поразительно напоминающий книгу «Об уме». Мо-

жет ли человек исправиться? Для этого нужно рассмотреть его в себе самом. «Человек рождается ни добр, ни зол. Утверждая противное того и другого, надлежит утверждать врожденные понятия, небытие коих доказано с очевидностью. Следственно, злодеяния не суть природны человеку; следственно, люди зависят от обстоятельств, в коих они находятся. А опыты нас удостоверяют, что многие повиновались нещастному соитию странных приключений. Если же человек случайно бывает преступником, то всяк может исправиться».

У Гельвеция мы не находим борьбы со смертной казнью. И очень возможно, что Ушаков в этом вопросе испытал уже ряд других влияний (Беккариа, Вольтер). Но доводы, употребляемые им, чисто гельвецианские: отрицание наследственности, влияние среды. Есть и прямая ссылка на Гельвеция. И наконец вывод: «не жестокость казни удерживает преступника или предваряет преступление, но мудрое законоположение и соединение общей корысти с частными корыстями, поелику то возможно».

Коротенькое рассуждение «О любви» также построено целиком на теории Гельвеция. Здесь особенно подчеркнута зависимость добродетелей и пороков от среды.

Любовь в обществе усложнена, перестала быть потребностью в чистом виде. «Любовь сия, зависящая от предрассуждений, от обыкновений и от состояния, не имеет в себе ничего непозволительного и ничего наказания достойного. Она становится добродетелью или пороком, располагаясь по воспитанию женщин, тот или другой вид приемлющему».

Положение женщины в обществе также обратило на себя его внимание. «Вся разума ее округа внешним ограничена блеском». Она пользуется свободой только в вопросах нарядов. «Прелесть поступи и несколько наизусть выученных модных слов заступают место мыслей и изгоняют природное чувствование». Злословие, честолюбие и коварство женщины он объясняет тем, что она принуждена притворяться и скрывать свои естественные чувства; она невежественна, не пользуется уважением как человек и т. д.

В произведениях самого Радищева мы постоянно находим взгляды и высказывания, весьма близкие к знакомым нам идеям Гельвеция. Такова особенно его знаменитая ода «Вольность» — самое яркое антирелигиозное и самое сильное по своему политическому радикализму произведение русского XVIII в. Но конечно в этом, как и в других сочинениях

Радищева, человека с обширным по своему времени образованием, гельвецианство — лишь одно из слагаемых цельного, большого мировоззрения. То же нужно сказать и о самом крупном по своим дарованиям последователе Радищева И. П. Пинне.

В России не было тех возможностей избегать цензурных строгостей, какие имелись в предреволюционной Франции. Достаточно сослаться на пример того же Радищева, пытавшегося издать свое «Путешествие из Петербурга в Москву» анонимно, хотя и с разрешения цензуры: он был немедленно обнаружен как автор и наказан как бунтовщик. Понятно поэтому, что поскольку идеи Гельвеция проникали в литературу, их острие, направленное против религии и политического угнетения, было притуплено. Его книга «О человеке» была запрещена в России. Надо думать, что и самое его имя считалось подозрительным. По крайней мере перевод первых страниц его поэмы «О счастье», напечатанный в журнале «Зеркало света» (1786—1787), появился без указания имени автора.

О популярности философа и его влиянии в русском обществе этой поры свидетельствует не только наличие у него друзей, но и борьба с его идеями со стороны представителей противоположного лагеря. Самыми заклятыми врагами материалистических и атеистических влияний, приходивших в Россию из Франции, были масоны-мистики. Имя Гельвеция со всевозможными отрицательными характеристиками часто встречается в их писаниях. Особенно яростно полемизировал с Гельвецием крупнейший представитель розенкрайцерства И. Г. Шварц. Он выступал против него не только на страницах издававшихся Н. И. Новиковым журналов, но и устно. Один из учеников Шварца, сыгравший большую роль в развитии мистицизма в России, следующим образом описывает, как Шварц «просвещал» насчет французской философии юношей, жаждавших просвещения, но подпадавших его влиянию¹⁰⁹: «В самое то время, когда модные писатели поглощались с жадностью незрелыми умами, он принял на себя благородный труд рассеять сии восстающие мраки и без всякого иного призыва, по сему единственно побуждению в партикулярном доме открыл лекции нового рода для всех желающих. С ними разбирал он Гельвеция, Руссо, Спинозу, Ламеттри и проч., сличал их с противными им философами и, показывая разность между ними, учил находить и достоинство каждого». Однако как понимал Шварц «достоинства» разбираемых им философов, видно по результатам его лек-

ций. «Простое слово его исторгло из рук многих соблазнительные и безбожные книги, в которых, казалось тогда, весь ум заключался, и поместило на место их святую библию».

В начале XIX в. действие французских идей, усиленное воспоминаниями о революции, наблюдается в радикальных кругах русского общества в не меньшей степени, чем в конце XVIII в. Имя Гельвеция как одного из любимых писателей тогдашней молодежи встречается в памятниках эпохи весьма часто.

Гольбах и Гельвеций определяли по большей части философскую сторону воззрений декабристов. Но в их политических взглядах имеются уже и позднейшие влияния.

Когда в следственной комиссии по делу декабристов обвиняемым ставился вопрос: «с которого времени и откуда заимствовали первые вольнодумческие и либеральные мысли?», — многие называли французских просветителей. Например барон В. И. Штейнгель в числе своих учителей назвал Гельвеция. В то же время он ссылается и на Радищева.

Николай Крюков, впоследствии в одиночестве крепостного каземата раскаявшийся в своем вольнодумстве, но до тюрьмы пламенно проповедывавший материализм и безбожие, также указывал на Гельвеция как на одного из своих учителей. В найденном у него списке книг небольшой библиотечки, обслуживавшей его товарищей, фигурирует собрание сочинений Гельвеция в 3 томах (изд. 1818 г.).

«Долго не решался я отвергнуть бога, — рассказывает следственной комиссии Крюков, — наконец, оживотворив материю и приписав все существующее в природе действию случая, потушил едва мелькавший свет чистой религии». Этот «адский пламень вольнодумства» особенно сильно раздула в нем повидимому гольбахова «Система природы», перевод первых глав которой был им сделан.

Поразительно напоминают Гельвеция нижеприведенные слова Пестеля, вождя декабристского движения. Борясь с оппортунистическими стремлениями, преобладавшими в «Союзе благоденствия» и выражавшимися в том, что главной задачей Союз ставил воздействие на общественное мнение и изменение таким путем нравов, он говорил: «Для образования нравов нужны века, но подлежит исправить правление, от которого уже и нравы исправятся».

Впрочем Пестель знал и ценил Гельвеция. В его записной книжке есть выписки между прочим из сочинений Гельвеция и Гольбаха. Он советовал своим друзьям в числе других сочинений также и чтение Гельвеция, чтобы приобрести све-

дения, дающие человеку возможность быть полезным себе самому, обществу и отечеству.

В «Русской правде», написанной Пестелем, мы не раз можем встретиться с мыслями, как-будто списанными из книг Гельвеция. Так, в предисловии говорится, что истинная цель государственного устройства—«возможно большее благоденствие многочисленнейшего числа (!) людей в государстве». В другом месте мы читаем: «Гражданские общества, а следовательно и государства, составлены для возможно большего благоденствия всех и каждого, а не блага некоторых, за устраниением большинства людей». Отдельные требования его, вроде уничтожения сословий, знакомы нам также.

Если даже эти и подобные взгляды взяты от Бентама, то первоисточником их все-таки является Гельвеций.

Значительное влияние Гельвеция мы встречаем также и у П. И. Борисова, основателя Общества соединенных славян, образовывавшего левый фланг всего движения 20-х гг. Борисов—сын беспоместного дворянина Слободской Украины, добывавшего средства к пропитанию трудом чертежника и архитектора. Он получил только «домашнее» воспитание и поэтому, поступив на военную службу в 1816 г., к 1825 г. имеет всего чин подпоручика. Еще до всяких литературных влияний уроки жизни внушают ему «любовь к демократии и свободе» с одной стороны, а с другой — предрасполагают к антирелигиозности¹¹⁰. Но главными учителями его делаются французские философы. Их сочинения помогли ему окончательно отделаться от религиозных понятий и превратиться, как характеризует его декабрист Якушкин, в «догматического безбожника». Этому поспособствовал еще счастливый случай — продолжительное пребывание на постое в имении богатого польского помещика, обладателя обширной библиотеки. В помещичьей библиотеке оказались сочинения Вольтера, Гольбаха, Гельвеция и «других писателей той же масти осмынадцатого столетия». Чтобы познакомиться с ними, Борисов, как говорили, даже изучил французский язык. Так постепенно, шаг за шагом, в результате наблюдений за окружающим и размышлений над почерпнутым из книг пришел Борисов к крайним воззрениям. Он не отделял проповеди своих политических идеалов от распространения неверия. Увлекшись французскими безбожниками, он не только сам усваивает их теории, но и неутомимо переводит избранные места из их сочинений. Эти переводы он распространяет среди сослуживцев. Один распропагандированный им «славянин» показывал на следствии, что Борисов поль-

зовался для пропаганды «текстами из Гельвеция, Вольтера, Рейналя и других».

Воспитанные на Гельвеции и других философах-материалистах, декабристы и в Сибирь, на каторгу и на поселение принесли свою светлую убежденность в могуществе человеческого разума и свою ненависть к религиозным предрасудкам, стоящим на пути к освобождению человечества от всех оков.

В дальнейшем прямое влияние идей Гельвеция на русских просветителей и революционеров становится менее заметным. Однако еще петрашевцы, эти русские «социалисты 49-го года», читают Гельвеция. В личной библиотеке Петрашевского наряду с сочинениями на политические и общественные темы, наряду с такими книгами, как «Нищета философии» Маркса и «Положение рабочего класса в Англии» Энгельса, имелись важнейшие произведения религиозного свободомыслия. Среди этих последних мы находим и сочинения Гельвеция.

К сожалению мнение Петрашевского о Гельвеции нам неизвестно. Но надо думать, что он высоко ценил его. Рассказывая николаевским жандармам о своем умственном развитии, он между прочим писал: «Я заставлен был холодным размышлением признать зависимость совершенную всех жизненных влияний в человеке от общих законов природы; я заставлен был признать ничтожность своей личности пред лицом природы и отбросить в сторону всякое самолюбивое мечтание, отвергнуть в себе то, что называется свободою произвола, и высшей мудростью признать стремление правильно последовать законам природы». Это — основы того мировоззрения, которое проповедывал на сотнях страниц своих произведений Гельвеций вместе с другими французскими материалистами.

Конечно кроме французских материалистов образованию материалистического и атеистического мировоззрения у Петрашевского и его товарищей содействовали сочинения Людвига Фейербаха, «Сущность христианства» которого вышла в 1841 г. Но у Петрашевского, по всем данным, влияние Фейербаха пришло уже после того, как мировоззрение его в своих основных чертах оформилось. Во всяком случае в его заметках 1842—1843 гг., озаглавленных «Запас общеполезного», этого влияния не заметно. Наоборот, многое здесь точно выхвачено из книги Гельвеция «О человеке». Как и Гельвеция, его очень занимают вопросы практической борьбы с религией, возможность хотя бы частичного ослаб-

бления ее вредного влияния в ожидании того, когда она совсем исчезнет. И он предлагает уничтожить сословность православного духовенства, перевести его на государственную службу, ввести возрастный ценз для священников, преобразовать монастыри в богадельни, обратить доходы церкви целиком в государственную казну и даже непрочь запретить доступ неграмотным к причастию.

Мы знаем, какое большое, решающее значение приписывал Гельвеций страстям. Петрашевцы, в большинстве своем последователи Фурье, также видели в страстях могучий рычаг прогресса. «Принцип нашего учения, — говорил А. В. Ханыков, — есть страсти — основное (пivотальное) начало всемирного движения, глаголу и велению которых подчинено все сущее...»

Наше изложение влияния идей Гельвеция мы закончим на фонде революционного движения 60-х гг. Н. Г. Чернышевском.

С Гельвецием Чернышевский знакомится, уже будучи вполне убежденным материалистом и атеистом. В его дневнике за 1850 г. имеется следующая запись о книге Гельвеция «Об уме»: «Ныне дочитал *De l'Esprit*, — весьма много мыслей, до которых я дошел «своим умом». Человек весьма умный, но для нашего времени слишком много поверхностный и односторонний и многие из основных мыслей принадлежат к этому числу, т. е. особенно те, которые противоречат социалистическим идеям о естественной привязанности человека к человеку, т. е. одна сторона эгоизма только выставлена — свое счастье, а то, что для этого счастья необходимо человеку, чтобы и окружающие его не страдали, это выпущено из виду»¹¹¹.

Нас здесь интересует только положительная часть оценки, потому что в отрицательной Чернышевский был далеко не прав и вероятно, когда ознакомился со второй книгой Гельвеция, этот свой взгляд должен был изменить. Мы знаем, что Гельвеций в своей теории нравственности был не столь уж односторонним и задачей морали как науки считал достижение наибольшего счастья для наибольшего числа людей. Другими словами, онставил перед моралью ту же задачу, которую ставил социалист Чернышевский.

Сходство между Гельвецием и Чернышевским в этой области бросается в глаза. Ю. М. Стеклов в своей обширной монографии о Чернышевском приходит к заключению, что Гельвеций оказал значительное влияние на последнего в вопросах этики¹¹². Г. В. Плеханов в очерке, посвящен-

ном Гельвецию, подробно останавливается на сходстве между Гельвецием и Чернышевским не только во взглядах, но и во внешних проявлениях этих взглядов. Из всех французских философов, говорит он¹¹⁸, Гельвеций всего более похож на великого русского просветителя. «Он обладает той же логической неустранимостью, тем же презрением к сентиментальности, тем же методом, теми же склонностями, тем же резонированием в доказательствах, и часто сходство между ними доходит вплоть до совпадающих в подробностях выводов и примеров для подкрепления того или другого утверждения». И Плеханов приводит разительные примеры этого сходства. Подобного рода совпадения отмечает и Стеклов. Конечно здесь не может быть речи о прямых заимствованиях. Но помимо общих социальных предпосылок, определявших теорию морали этих двух замечательных людей, и помимо наличия у них более или менее одинаковых исходных философских положений, следует все-таки признать и прямое влияние Гельвеция на Чернышевского.

То же сходство во взглядах отмечалось между ними и во взглядах на эстетику.

Таковы основные вехи влияния идей Гельвеция на русской почве. Это влияние безусловно было положительным и содействовало в весьма значительной степени развитию у нас тех революционных идеологий, которые направляли борьбу против самодержавно-бюрократического режима и против религии, как одной из идеологических основ этого режима.

Примечание

1. Mercier „Tableau de Paris“, „Bibl. nationale“, t. IV.
2. Мемуары маркиза де-Булье, цит. по M. Roustan „Les philosophes et la société française au XVIII siècle“. Paris, 1911, p. 110.
3. P. Lanfrey „L'église et les philosophes au XVIII siècle“, Р. 1879, pp. 117—118.

4. Булла „Унigenitus“ (Unigenitus 1713) — декрет, которым римский папа Климент XI осуждал янсенизм — учение голландского богослова Корнелиуса Янсена, которое приняло характер оппозиции не только к католической церкви, но и к абсолютной дворянской монархии.

Булла предписывала лишать причастия всех несогласных и вызвала резкое разделение католического мира на две части — приемлющих буллу и следовательно находящихся на стороне иезуитов и папы, и отвергающих, сторонников янсенизма. Богословская драка продолжалась до середины столетия, когда янсенизм, побежденный репрессиями светских и духовных властей, сошел со сцены.

5. Парламенты в дореволюционной Франции отнюдь не являлись выборными законодательными органами. Основной их функцией при феодализме было правосудие, но с течением времени они приобрели такое значение, что вмещивались, блюдя „закон“, во все почти отрасли управления. К 1789 г. во Франции было 13 парламентов.

6. E. Brunetière „Etudes sur le XVIII siècle“, Р. 1911, p. 234.
7. Г. В. Плеханов „Н. Г. Чернышевский“. Изд. „Шиповник“, стр. 289.
8. „Beiträge zur Geschichte des Materialismus“. 2. Aufl., S. 135—136. Переводилась на русский язык.

9. „Святое семейство“. Цит. здесь и далее по книге „К. Маркс и Ф. Энгельс о религии и борьбе с нею“. ГАИЗ, М. 1933, т. I, стр. 148 и сл.

10. „Карл Маркс о французском материализме XVIII столетия“ в приложении к „Людвигу Фейербаху“ Энгельса, Петроград, 1918, стр. 64—65. Имеется и в ряде других изданий соч. Маркса и Энгельса.

11. Биографические и прочие сведения внешнего характера мы заимствовали преимущественно из биографии Гельвеция, написанной вскоре после смерти философа его другом и учеником Сен-Ламбером „Essai sur la vie et les ouvrages de M. Helvétius“ („Опыт о жизни и сочинениях г. Гельвеция“). Мы цитируем ее по полн. собр. сочинений Гельвеция. (Œuvres complètes de M. Helvétius en 7 vol. Aux Deux Ponts, chez Sancion et Cie, 1784). Также широко используется нами новейшая биография Гельвеция A. Keim „Helvétius, sa vie et son œuvre d'après ses ouvrages, des écrits divers et des documents inédites“, Р. 1907.

12. Мы не называем здесь Ламетри, потому что он получил специальное медицинское образование, которое, как и его профессия врача, направляло его взоры в сторону естествознания. Ламетри принадлежит к тому течению во французском материализме, которое, как говорил Маркс в своем

цитированном в тексте отрывке, ведет свое происхождение от Декарта, образует механический материализм и переходит во французское естествознание. Следует однако оговориться, что и у этого направления французского материализма прослеживается очень сильное влияние Локка, значительно смягчающее его механический характер.

13. „Notes de la main d'Helvétius“, Р. 1907, р. 34. Эти „Собственноручные заметки Гельвеция“ были найдены лишь в начале текущего столетия. Альберт Кейм, опубликовавший эти заметки, относит их к периоду 1738—1748 гг. По нашему мнению, начало их относится к 1735 г., когда будущий философ впервые заинтересовался новой философией и с жаром прозелита погрузился в изучение волновавших его современников вопросов.

14. A. Keim „Helvétius“, pp. 15—17.

15. Oeuvres, t. VII, p. 17.

16. Houssay „Histoire du 41-me fauteuil de l'Académie Française“, Р. 1894, р. 146.

17. Marmontel „Mémoires d'un père“, Р. 1827, т. I, pp. 206—207. Мармонтель был известен как автор философских романов. Наибольшей славой пользовался роман „Велизарий“, запрещенный за свободомыслие во Франции. На деле Мармонтель был умеренным и посредственным писателем. Цитируемые нами его „Мемуары“ являются весьма ценным историческим документом.

18. Подробно о Дюмарэ и его произведениях мы говорим в „Истории атеизма“, изд. 3-е, стр. 215 и сл.

19. Oeuvres complètes, t. I, p. 189.

20. Oeuvres compl., t. I, p. 193. В сочинениях Гельвена этот отрывок „Fragment d'un épître sur la superstition“ помещается без всяких указаний об его происхождении. У биографов его мы также не нашли никаких пояснений. По языку и стилю его следует отнести к раннему периоду творчества Гельвена.

21. Oeuvres compl., t. I, p. 182.

22. К сожалению до нас дошли только письма Вольтера к Гельвению, по которым очень трудно судить, насколько глубока была критика Локка со стороны последнего. Приведем здесь соответствующее место из письма Вольтера по вопросу о существовании бога (Oeuvres compl., t. I, pp. 226—227): „Что касается тех бесконечных связей в мире, из которых Локк выводит доказательство существования бога, то этого места я не нашел. Во всяком случае мне кажется, что я понял, в чем вы затрудняетесь, и по сему поводу коротко изложу вам свой взгляд. Я полагаю, что, независимо от бога, материя имеет бесконечное количество необходимых отношений; эти отношения я называю слепыми, таковы отношения места, расстояния, фигуры и т. п. Но что касается отношений предназначения, то здесь я с вами не согласен. Мне кажется, что отношения между полами, между стеблем травы и семенем служат доказательством бытия разумного существа, которое творило. И таких отношений предназначения имеется бесконечно много... Это не слепые отношения“.

23. Вот маленький пример этих отречений Бюффона: „Я заявляю, что не имел никакого намерения противоречить писанию... что я твердо верю во все, что в нем говорится о сотворении мира, и отрекаюсь от всего, что в моей книге касается образования земли, и вообще от всего, что могло бы противоречить рассказу Моисея“.

24. Рассказ Эро-де-Сешеля о его поездке в Мянбар, поместье Бюффона. Цит. у Michot „Eloge de Buffon“, p. 195.

25. Houssay „Histoire“ etc., p. 167.

26. Oeuvres compl. de M. Helvétius, t. I, p. 274; Oeuvres de Montesquieu, Р. 1823, p. 722.

27. „Об историческом материализме“. М. 1933, стр. 13.
28. Avezac-Lavigne „Diderot et la société du baron d'Holbach“, Р. 1875, pp. 77—78.
29. *Mémoires de l'abbé Morellet*, t. I, pp. 131—135.
30. Приведенный рассказ заимствован нами у Damiron „Mémoires pour servir l'histoire de la philosophie au XVIII s.“ Р. 1858, t. I, pp. 270—271. Ср. также Collignon „Diderot“, Р. 1907, p. 179. К сожалению ни один из названных источников не указывает, откуда взят ими этот рассказ; в сочинениях Дидро мы его не нашли.
31. Notes de la main d'Helvétius, p. 86.
32. *Mémoires*, t. I, pp. 341—343.
33. Collignon „Diderot“, p. 67.
34. Reinach „Diderot“. Р. 1864, p. 22.
35. Аксеса в примечании к опубликованному им „Оправлению сочинения Гельвеция „О человеке“, см. Oeuvres complètes de Diderot, t. II, p. 265.
36. Oeuvres compl. de Diderot, t. XIX, pp. 41—42.
37. Oeuvres de Du Marsais. Р. 1797, t. VI, p. 36.
38. *Mémoires de l'abbé Morellet*, t. I, p. 74.
39. Цит. у А. Кейм „Нé vélus“, p. 345. В дальнейшем мы излагаем „дело“ Гельвеция по книге Кейма, у кото оно оно изложено с исчерпывающей полнотой и документальностью.
40. Oeuvres compl., t. II, p. 274.
41. Jules Barri „Les moralistes français au XVIII siècle“. Р. 1873, p. 138. Этот критик делает вид, что не понял Гельвеция, и утверждает, что мысль его сводится к сущности и положению: „если бы природа сделала человека юнцом, он не был бы человеком“. Такого рода лещевая критика материалистов — явление совершенно обычное со стороны представителей идеалистической философии.
42. Oeuvres compl. t. II, pp. 12—14.
43. В своей книге „О человеке“, где он специально занят доказательством того, что не физическая организация, а воспитание определяет все различия между людьми и что следовательно только путем воспитания в самом широком смысле слова можно усовершенствовать человечество, Гельвеций ставит вопрос: „Лежит ли различие между существами в их зародышах или же в их развитии?“ И он отвечает незнанием. Но для него ясно, что „одна и та же порода животных делается сильнее или слабее, возвышается или снижается в зависимости от характера и обилия пасбищ“. Разница в росте и фигуре дубов определяется различием культуры, почвы, атмосферных влияний (Oeuvres compl., t. V, p. 157). Г. В. Плеханов в „Beiträge zur Geschichte des Materialismus“ замечает по поводу этого места: „Взор Гельвеция достаточно проницателен, чтобы заметить явления эволюции... Но... „наш философ и не подозревает, что история вида может оставлять следы в строении зародыша. История вида? Для него она столь же существовала, как и для его современников. Он имел в виду только индивидуум; он вопрошает индивидуальную „природу“, он наблюдает индивидуальное „развитие“... Гельвеций остается метафизиком даже тогда, когда инстинкт приводит его к другой, совершенно противоположной, естественной точке зрения“, (цит. по 2 нем. изд. Stuttgart 1903, S. 93—94). Её оценкой в общем нужно согласиться. Но действительно ли Гельвеций подозревал, что зародыш может содержать следы истории вида? Не он, не обладая специальными естественнонаучными знаниями, не состояниями связать индивидуальную эволюцию с эволюцией вида в целом. Н. F. Osborn. „From the Greeks to Darwin“, N. Y. 1908, p. 141. В том месте (стр. 248) этот исследователь говорит: „Бруно замечает зна-

- чение приспособленных для пользования орудиями рук, но особенно интересно высказанное Бюффоном, Гельвецием и Эразмом Дарвином предположение, что положение большого пальца, присущее человеку и делающее его более приспособленным, могло быть результатом счастливой случайности*.
45. „Диалектика природы“, изд. 6-е, стр. 51 и сл.
 46. *Oeuvres compl.*, t. I, p. 268.
 47. *Mémoires pour servir à l'histoire de la philosophie au XVIII s.*, t. I, pp. 405—409.
 48. „О человеке“, *Oeuvres compl.*, t. V, pp. 102, 199.
 49. Сочинение, изд. 3-е, т. XIII, стр. 103.
 50. „О человеке“ *Oeuvres compl.*, t. V, VII, p. 242.
 51. „Notes“ etc., p. 8.
 52. „О человеке“, *Oeuvres compl.*, t. V, p. 25.
 53. „Об уме“, *Oeuvres compl.*, t. II, p. 17.
 54. „О человеке“, *Oeuvres compl.*, t. V, pp. 247—249.
 55. Сочинение, 3-е изд. т. XIII, стр. 105—106.
 56. „Об уме“, *Oeuvres compl.*, t. II, p. 47.
 57. В книге „О человеке“ Гельвейций в другой связи, правда, тоже говорит, что полного представления о материи иметь нельзя: мы знаем только тела (*Oeuvres compl.*, t. VII, p. 244).
 58. „Beiträge“ usw. S. 81.
 59. „Анти-Дюриинг“, изд. 6-е, стр. 250.
 60. „О человеке“, *Oeuvres compl.*, t. V, p. 110—112.
 61. „Notes“ etc., p. 16.
 62. „Человек-машина“. „Oeuvres philosophiques de Mr. de la Mettrie“; Berlin, 1775, t. III, p. 29.
 63. *Oeuvres compl.*, t. V, p. 148.
 64. „Об уме“ *Oeuvres compl.*, t. II, pp. 52—54.
 65. „Notes“ etc., p. 28.
 66. „Анти-Дюриинг“, стр. 80.
 67. Цитируем по „*Examen des critiques du livre intitulé „De l'Esprit“*. Рассмотрение критики, которой подверглась книга „Об уме“). Эта брошюра, защищавшая Гельвейция, была опубликована без имени автора в 1760 г. с указанием Лондона как места издания. Ее автором был один из друзей и почитателей Гельвейция, энциклопедист Шарль-Жорж Ле-Руа, автор замечательных „Писем о разуме животных и их способности совершенствоваться“. Названная брошюра перепечатывалась в различных изданиях сочинений Гельвейция. В издании, которым мы пользуемся, она занимает стр. 185—307 IV тома. Подробные извлечения из статей, направленных против книги Гельвейция из лагеря богословов, даны также Кеймом в его биографии Гельвейция.
 68. *Oeuvres compl.*, p. 191.
 69. *Oeuvres compl.*, t. II, p. 206.
 70. *Oeuvres compl. de Diderot*, t. XIX, p. 495.
 71. *Oeuvres compl. de Diderot*, t. II, pp. 313—314.
 72. Абраам Шомей — наший памфлетист, опровергавший в многотомном сочинении Энциклопедию и книгу Гельвейция.
 73. Приведено у Кейма, стр. 508.
 74. *Oeuvres compl. de M. Helvétius*, t. I, p. 289.
 75. *Oeuvres compl.*, t. I, p. 272 — письмо от 15 окт. 1771 г.
 76. Эта переписка была напечатана в статье А. Рачинского „Русские ценители Гельвейция“. „Русский вестник“, 1876, кн. 5.
 77. „*Mémoires historiques et philosophiques sur la vie et les ouvrages de D. Diderot*“. P. 1821, pp. 316—317.

78. *Oeuvres compl.*, t. V, pp. 8—10. Тем же пессимизмом проникнуто последнее письмо Гельвеция к Давиду Юму (t. I, p. 289). „Наша несчастная страна,— пишет он,— находится в состоянии кризиса... Она получила толчок, который не замедлит ускорить ее падение, если это падение не будет замедлено каким-либо сторонним и трудно предвидимым в данный момент событием“.

79. Цит. у Кейма, стр. 597.

80. Д. А. Голицын (1734—1803)—посланник в Париже с 1754 до 1768 г. Сблизился с энциклопедистами и всесильно проникся их взглядами. Был сторонником освобождения крестьян.

81. А. Рачинский „Русские ценители Гельвеция“. „Р. Вестник“, 1876, кн. V, стр. 288.

82. Была дважды переведена на русский язык: „Истинный смысл системы природы“, пред. Деборина, „Нов. Москва“, 1923 и „Бог—природа—человек“. Перев. с лондонск. изд. 1774 г. Н. Шер-Семковской с пред. С. Семковского, Харьков, 1932. К сожалению, приходится отметить, что оба эти издания выдают простой пересказ „Системы природы“ Гольбаха за оригинальное сочинение Гельвеция. В данном случае нельзя эту подстановку извинить незнанием того факта, что имя Гельвеция к этой книжке было приставлено корыстолюбивыми книгоиздателями XVIII в.

83. Подробнее об этих проектах Дидро см. в нашей „Истории атеизма“, 3-е изд., стр. 262 и сл.

84. „Philosophie anc. et mod.“, t. I, Р. 1791, р. XXII.

85. Все проекты и попытки замены положительной религии более или менее безобидным культом во время французской революции прослежены нами в третьей части „Истории атеизма“.

86. „О человеке“, *Oeuvres compl.*, t. V, pp. 63—65, 92.

87. Рокэн „Движение общественной мысли во Франции в XVIII в. 1715—1789“. СПБ, 1902, стр. 294.

88. *Oeuvres compl.*, t. II, p. 289.

89. *Oeuvres compl.*, t. II, p. 398.

90. „О человеке“, *Oeuvres compl.*, t. V, pp. 102—103.

91. „О человеке“, *Oeuvres compl.*, t. V, pp. 233—234.

92. „О человеке“, *Oeuvres compl.*, t. VI, p. 184.

93. *Damiron „Mémoires“ etc.*, t. I, p. 525.

94. *Oeuvres compl.*, t. II, p. 427.

95. „Beiträge“ usw. S. 134.

96. А. Кельм „Helvétius“, p. 633.

97. В представленном Наполеону списке книг для его библиотеки фигурировали сочинения Гельвеция. Но Наполеон с сердцем вычеркнул это имя из списка.

98. Энгельс „Анти-Дюринг“, стр. 11—13.

99. Ленин—Сочинения, изд. 3-е, т. XIV, стр. 70.

100. „Историч. Вестник“, 1881, № 5, стр. 36.

101. „Записки А. Т. Болотова“, стр. 927 („Русская старина“, 1872, октябрь).

102. О вольтерьянстве мы подробно говорим в нашей „Истории атеизма“.

103. „Западное влияние в новой русской литературе“. 2-е изд., М. 1896, стр. 114.

104. „Мое время. Записки Г. С. Вилского“, под ред. и с вступ. статьей Н. Г. Щеголова. Из-во „Огни“.

105. Это сочинение Радищева приведено в полном собрании его сочинений без сопровождающих его сочинений Ушакова. Мы пользуемся полным текстом, перепечатанным Бартеневым в сборнике „Осмьнадцатый век“, т. I, М. 1869.

106. Здесь Радищев делает примечание: „Гrimm в бытность свою в

Лейпциге, извещен будучи, с каким прилежанием мы читали Гельвецию книгу о разуме, по возвращении своем в Париж сказывал о сем Гельвецию".

107. См. известную статью Пушкина о Радищеве.

108. В литературе высказывалось предположение, что знатный русский барин, познакомивший студентов с книгой Гельвеция, был не кто иной как один из Орловых. Эта догадка основана, во-первых, на предположении, что инициал, которым обозначает этого русского Радищев — Ф. (фита), в первоначальном издании попал по ошибке наборщика вместо О, и, во-вторых, на том обстоятельстве, что А. Г. Орлов в сопровождении брата Ф. Г. Орлова действительно побывал в 1768 г. в Лейпциге проездом в Италию.

109. Воспоминания Лабзина, цит. у Н. С. Тихонравова.—Сочинения, т. III, ч. I.—Русская литература XVIII и XIX вв. М. 1898, стр. 77 и сл.

110. Подробно о взглядах Борисова и других декабристов-безбожников мы говорим в „Истории атеизма“. См. также нашу брошюру „Декабристы и религия“.

111. „Литературное наследие“, т. I, ГИЗ, М.—Л. 1928, стр. 523—524.

112. „Н. Г. Чернышевский“. Т. I, ГИЗ, 1928, стр. 216.

113. „Beiträge“ usw. S. 99.

Оглавление

Предисловие	3
Введение—Франция в XVIII столетии и просветительское движение	5
Глава первая. Детство и молодость Гельвеция	21
1. Годы учения.	
2. Гельвеций — „финансист“.	
Глава вторая. Влияние современников и первые опыты	30
1. Гельвеций и Вольтер.—Поэмы Гельвеция.	
2. Фонтенель, Бюффон, Монтескье.—Критика „Духа законов“.	
Глава третья. Гельвеций — просветитель	45
1. Подготовка книги „Об уме“.	
2. Выход книги.—Преследования.	
Глава четвертая. Книга „Об уме“	61
1. Материалистическая философия Гельвейции.	
2. Теория нравственности.	
3. Антирелигиозная тенденция книги.	
Глава пятая. Последние годы	93
1. Подготовка новой книги.	
2. Смерть Гельвеция.—Судьба его сочинений.	
Глава шестая. Книга „О человеке“	103
1. Наука о человеке.—Борьба с религией.	
2. Борьба за политическую и социальную реформу.	
Заключение	127
Приложение	131
Идеи Гельвеция в России.	
Литература	145

Цена 1 р. 60 к.

Переплет 25 к.

Почтовые заказы направляйте по адресу
МОСКВА, 64 „КНИГА—ПОЧТОЙ”

Книги высыпаются только наложенным платежом
(без задатка)